

**Дмитрий Сергеевич Лихачев
В блокадном Ленинграде**

Моя война –



Текст предоставлен издательством
«В блокадном Ленинграде»: Алгоритм; Москва; 2017
ISBN 978-5-906979-93-3

Аннотация

Дмитрий Сергеевич Лихачев – всемирно известный ученый: филолог, культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600 публицистических трудов; Председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры.

В годы Великой Отечественной войны он находился в осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности жизни «блокадников», усилия по обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

Дмитрий Лихачев В блокадном Ленинграде

© Лихачев Д.С., правообладатели, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Старый Петербург

Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькал Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой – горшками, тарелками, кружками, – а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун – у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчицких санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На бульжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой переключиной для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротнo, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустынное. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висит сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их сняли в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть свежим воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: «бриллианты» сверкают, переливаются.

Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой

бульжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый бульжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они бульжник к бульжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге бульжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне бульжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по бульжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город, и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!». Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период НЭПа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка

шла вдоль всего вагона по металлической палке, к которой были прикреплены кожаные петли, за них могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересест в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетающие шарики; красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царил оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!». Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех дома были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой – самые элегантные сани с вороними конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых.

Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома

был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель «Титаника» – это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонементов в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры в антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы. Лампады горели электрические, и это некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это была его инициатива. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю I. Это были солдаты, служившие еще Николаю I. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом не только трагической, но и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал.

Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищурился одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булки из Испании – там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив – «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним – «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской – ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквожей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Faberge». Напротив – важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как «иностранка». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. Процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).

Годы 1917–1950-е запомнились мне своими темными и скучными красками. Дома если и красились, то уже в один цвет, орнамент не выделялся цветом, да и не чинился. Не стало красивых форм у военных. Люди ходили оборванные и во всем старом, хотя бы и имели новое, но новое было носить опасно – как бы не приняли за «буржуев». По этой же причине не носили белых воротничков, а по большей части надевали в годы Первой мировой и Гражданской подобие френчей, сшитых иногда из самой «невоенной» материи, а еще чаще перешитых из старых пиджаков, сюртуков, визиток и прочей «буржуйской» одежды. Во время Первой мировой войны носили бекешы. Помню Шаляпина, садившегося в трамвай на Введенской – угол Большого проспекта Петроградской стороны; и то я запомнил его не потому, что впервые увидел «знаменитость», а потому, что бекеша Шаляпина была необычного цвета – синяя.

Когда в тридцатых годах мне рассказали, что за границей легковые автомобили имеют разные цвета и можно встретить даже красные, желтые, голубые, я как-то не мог себе это представить – настолько я привык ко всему черному в автомобильном хозяйстве.

Когда перед самым арестом я заказал себе костюм за сорок рублей (а это были в 1927 г. большие деньги, заработанные мною на подборке книг для Фонетического института иностранных языков, которым ведал тогда в частном порядке Семен Карлович Боянус – мой

учитель английской фонетики), то передо мной был выбор – только черный или темно-синий. И я заказал себе темно-синий, оказавшийся по получении его просто черным. Я так его ни разу и не надел. Носил его мой брат Юра. По возвращении же из лагеря родители купили мне грубошерстный черный костюм, в котором я проходил до окончания войны.

Темно-коричневая толстовка, остальное все черное, поношенное, с темными рубашками. И бритвы у меня не было, а стриг я бороду сохранившейся с дореволюционных времен машинкой под два нуля... Таковы были цвета трех десятилетий нашей советской жизни.

Погода в Петербурге менялась очень часто и всегда сопровождалась каким-то особым настроением. Зимой то тихо падает снег, то завивается или бурно мчится, то мокрыми хлопьями, то сухой крупой, то сечет лицо холодом, то нежно его остужает.

Летом духота и жара делают человека слабым и безразличным – прохожие приостанавливаются, стоят без видимой цели и заботы. Лошади падают от солнечных ударов. Собирается гроза, и гром гулко сотрясает железные крыши домов. Нева меняет окраску: из спокойно текущей ощеривается темной рябью.

Никогда не бывает город так гордо красив, как весной, особенно когда цветет наполняющая его сады и парки сирень, когда-то в Петербурге столь обильная и пышно богатая.

Ранней осенью в безветренные солнечные дни воздух прозрачен, и на Неве видна каждая деталь, а под вечер дома и дворцы на Неве кажутся аппликациями, вырезанными из бумаги и наклеенными на синий картон неба.

Погода постоянно обращена к человеку. Она о нем помнит, создает ему настроение. Петербург кажется гигантской театральной сценой, «постановочным пространством» для самых больших исторических трагедий, а иногда и комедийных импровизаций.

Все это я пишу, осмысливая свои детские впечатления, в которых перемены погоды занимают особое место, ибо родители бдительно следят за тем, как я одеваюсь, выходя на улицу. То нужен башлык, и башлык можно повязать по-разному – стоячком или просто за спину, а то и обмотать вокруг шапки и шеи. Иногда галоши надо сменить на ботики, надеть гамашки или теплые чулочки. Все зависит от погоды. Петербург живет погодой больше, чем любой другой город России. Выходишь в одну погоду, а возвращаешься в другую.

Изменилась ли погода в Петербурге со времен моего детства? Что называть погодой? Если в погоду включать снег и его поведение на мостовой, тротуарах, крышах, то изменилась. Если в погоду включать дым из множества труб, когда-то поднимавшийся вертикально в низкое осеннее небо (и, наоборот, в очень высокое зимой) или гонимый ветром над крышами, то этих эффектов погоды сейчас уже нет. Не топятся в городе тысячи кафельных печей и больших кухонных плит, не разжигаются самовары, меньше дымят трубы заводов, и нет паровых дымов. Другим стал запах уличного воздуха, даже его ощущение лицом. Десятки тысяч лошадей, обдававших прохожих своим теплом, как это ни странно, делали воздух города менее «официальным». Я не оговорился: именно «менее официальным», менее безразличным к человеку.

В «Поэме без героя» Ахматовой удивительно передана маскарадная атмосфера Петербурга, в немалой степени зависевшая от погоды города, таинственной в своих изменениях и тончайших нюансах.

Детство

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и

получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – «Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешли в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчаливый и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены – время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алушке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонементов. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонементов. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразило падение снега на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставить играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»: «Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 г. – Д. Л.). Традиция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция «первый балетный абонемент», где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.

– «Ложа яхт-клуба», «ложа уланов», «ложа Половцевых», «ложа Кшесинской».

– «Почему нет Лихачевых?», «Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой...»

– «А вот Кшесинская у себя в ложе... полтора года ее не было видно – была в трауре...»

Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево – разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть «Капризов бабочки» или «Дон Кихота», как и те, кто на сцене» («Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).

Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходило на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход – на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтоно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стояли часовые – были ли в ней придворные или нет (сама царская семья сидела всегда справа от сцены в ложе бенуара за голубыми портьерами).

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь зал Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги – этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях – приложениях к «Ниве».

Куоккала

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья сэкономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д. Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача

Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции (под именем Жан Пюни) и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.

Уезжая во Францию, Мария Альбертовна оставила нам два гобелена (один с видом Венеции до сих пор цел у нас), Детскую энциклопедию, которую я чрезвычайно любил, миланский кофейник коричневого цвета с чашечками и еще что-то на память.

Была ранняя весна. Пуни заехали в Куоккалу к отцу, и именно тогда Репин подарил отцу Марии Альбертовны ее акварельный портрет в пляжном костюме, пририсовав на нем легкий контур Эйфелевой башни, под сенью которой ей предстояло жить.

Самые счастливые воспоминания детства связаны у меня с пляжем в Куоккале. Как вчерашние, я помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки. Эта будка была непременной принадлежностью сдаваемых дач. Дача сдавалась только целиком. По комнатам нанимать или сдавать дачу никому еще не приходило в голову. И вот весной, как только дачники переезжали на нанятую ими дачу, хозяин водворял будку на воз и вез ее на пляж, где вместе с моим отцом они выбирали место для «нашей» будки. Часто будок было так много, что их выстраивали в два ряда (естественно, что в менее удобном втором ряду ставились будки поздно переехавших на дачу).

В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом. Недолго был у меня и «военный корабль». Его заводили, он отплывал, раздавался выстрел, и он поворачивал к берегу. 2–3 раза эти пускания броненосца мне нравились, но уж очень он был «нереальным». Гораздо больше мне нравилось ставить парус и руль на игрушечной яхте и пускать ее плавать косо к ветру. Море было мелким, и идти за яхточкой можно было долго...

В 12 часов на пляже мы пили молоко, принесенное утром в бутылке и закопанное в прохладный сырой песок позади будки.

Счастьем было наблюдать артиллерийские учения на фортах. Ближе всего в Куоккале был форт «Тотлебен». Мимо него на канате буксир тянул белый щит, хорошо нам видный, по нему артиллеристы стреляли. Попадание нам не было видно, но звук выстрела мне нравился чрезвычайно. Он был несколько приглушен и растянут водой и вместе с гомоном купающихся создавал ту симфонию звуков, которая сливается для меня со звуковыми ассоциациями детства.

Позади будок мы с братом строили окопы и «сражались» друг с другом в обществе товарищей, кидая шишки, намачивая их водой или «приготовляя» их к киданию в сыром песке: чтобы они сложились и летели дальше.

А еще дальше рос прекрасный сосновый лес, над которым возвышался ветряк, не то вырабатывавший электричество, не то наполнявший водой из колодца водонапорную башню богатых соседей дачевладельцев...

А еще мне нравилось делать из высохшего тростника, который прибывало ветром со стороны Петергофа, где он рос, разнообразные «гидропланчики» и пускать их особенно тогда, когда ветер был со стороны берега. «Гидропланчики» уходили в море на большой скорости.

Папу из города встречаем всей семьей.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной парходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой

головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.

Вечером, когда приезжал со службы из Петербурга отец, мы обедали, я бежал через Большую дорогу (теперь – Приморское шоссе) в ларек к его владелице, пожилой вдове, покупал у нее семечек и сосательных финских конфет, возвращался, и мы шли гулять по берегу. Семечки мы не лушили, а чистили ногтями (теперь так никто не делает), а отец задавал нам загадки. Одна из них была такая: он точно указывал, не смотря на Толбухин маяк, – когда маяк зажигался и когда гас. Сперва я думал, что он делает это по отражению в своем пенсне, но отец снимал пенсне и все же угадывал! Просто он отсчитывал время – знал периодичность его вспыхивания.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы – и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор цитировавшегося мною выше путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных звуков в начале слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

Море становилось торжественным и значительным, когда через воду долетал еле слышимый звук тяжелого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных,

когда окунались, озорных при игре, но всегда приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и сейчас, и до сих пор я ее очень люблю.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. У каждой дачной семьи, как я уже сказал, была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыряться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили их записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей обычно иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал не только фейерверки, но и просто костры без всякого повода. Он любил огонь.

Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач.

Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны – в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаше ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила туда компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами и травоедением.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Общественным местом была

церковь, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн – управляющий его доходным домом (угол Большого проспекта и Гатчинской улицы). Он был немцем, но в начале Первой мировой войны переименовал фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году укоротились и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося в своем саду брюки. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов часто уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносящими ему лекарства (обычно травяные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется. То было уже в Узком, но стиль поведения был куоккальский.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Еще чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как одной из родин европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы:

цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! Цото бендзе – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквях, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат Миша снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после Второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила Мишу только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Северный ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств, могла захлебнуться и утонуть. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах – тогда это считалось неприличным. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?». Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно случалось что-либо неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буквами «С.Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой

перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

И еще раз «связь времен». Когда рукопись этих моих воспоминаний была совершенно готова, я полистал очерк К. И. Чуковского о Короленке. Выяснилось, что Владимир Галактионович Короленко чрезвычайно любил бросать на тихую поверхность моря плоские камешки и был своего рода чемпионом этой игры. Я тоже любил это занятие, и осенью 1931 года мы развлекались с племянником писателя Владимиром Юльяновичем Короленко во время своих тайных прогулок в лесу у соловецких озер (об этом дальше). Оказывается, «печь блины» было любимым занятием Короленок...

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовой лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе. Море располагало к забавам.

Жизнь дачной местности летом была совершенно непохожа на современную. Дачники постоянно общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости – как газетные, так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. Наряжались не только для того, чтобы похвастаться своей портнихой, но и чтобы создать «свой образ». Мария Альбертовна Пуни одевалась экстравагантно, другие – подчеркнуто скромно или «строго» – в аристократическом вкусе.

Все это создавало культуру. Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого.

К прогулкам готовились за неделю. Обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен был быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь! – это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых.

У садовницы-финки, к которой я зашел в 1985 г. в Комарове, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:

«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.

Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые».

...Осенью 1914 года, когда началась Первая мировая война, мы жили на даче близко от Большой дороги. Ждали десанта немцев в Финляндии. Дачники спешно уезжали в Питер. Вагонов для перевозки дачного скарба не хватало. Финны везли тяжело нагруженные телеги мимо нашей дачи и часто застревали в песке. Тревога усиливалась лесными пожарами (лето было засушливое). В воздухе стоял запах дыма. Время детского рая кончилось навсегда...

Красный террор

Русская культура «серебряного века» (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах – откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения

именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, – типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX – первой четверти XX вв.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

Есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных – кто их созывает, – появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещение от руки написанными объявлениями (а чаще друг через друга) – были вполне достаточными.

Сперва потребность – потом скромное «оформление». Сейчас, в наши дни, нечто совершенно противоположное: прежде всего придумывается название, изыскиваются средства, утверждается штат и т. д. Названия – самые «высокие» и ранг не ниже лица, колледжа, университета, академии и т. д.

Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936–1937 гг. была только «девятым валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918–1919 гг. могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством – все казалось «естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране лишь самое серое и безличное, – то, что пряталось, или то, что приспособлялось.

Пока же в стране оставались мыслящие люди – люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не прекращалась – ни в тюрьмах и лагерях, ни на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем процессам разложения в обществе. Русская интеллигенция никогда не была «гнилой». Подвергнувшись «гниению», только ее часть начала участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914–1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Мои воспоминания – прежде всего о людях, меня окружавших, об умственной жизни 20-х – начала 30-х гг., поскольку она, эта жизнь, была мне доступна в те годы.

С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, исходившую от старшего поколения русской интеллигенции.

Дневная эпоха сменялась ночной, люди не спали ночами. Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля, и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых...

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам, нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви – любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах Первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни.

Университет

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а – обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей «перестройки». Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин – известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было – звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета – Виктора Максимовича Жирмунского. Ему так же условно была присуждена степень доктора, но совсем не условно аплодировали и подносили цветы. Темой «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку – кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов Гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» – учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО – общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, – здесь занимались филологическими науками.

Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы – «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после Гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили тогда на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, в котором по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, – это во времени.

Ленинградский университет в 20-годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII – самом начале XIX века, другую – о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе была тьма-тьмуша различных лекториев и мест встреч – начиная от Вольфины на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные

прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей – особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств.

Из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Прежде всего занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских Бестужевских курсов. «По иронии судьбы» – ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню – из числа участников Гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне – и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному – занятиям в рукописных отделениях и библиотеках – учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял – как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню, надеясь добыть у него кое-какие материалы по Некрасову. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражающим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации. На самом же деле его лекции были детально продуманы

заранее.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе – особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время – это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых – литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда – как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой – писать для детей по русскому языку).

Арест и тюрьма

В начале февраля 1928 г. столовые часы у нас на Ораниенбаумской улице пробили восемь раз. Я был один дома, и меня сразу охватил леденящий страх. Не знаю даже почему. Я слышал бой наших часов в первый раз. Отец не любил часового боя, и бой в часах был отключен еще до моего рождения. Почему именно часы решились в первый раз за двадцать один год пробить для меня мерно и торжественно?

Восьмого февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант наших зданий на Печатном Дворе Сабельников. Сабельников был явно расстроен (потом его ожидала та же участь), а следователь был вежлив и даже сочувствовал родителям, особенно, когда отец страшно побледнел и повалился в кожаное кабинетное кресло. Следователь поднес ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от острой жалости к отцу.

Сам обыск занял не много времени. Следователь справился с какой-то бумажкой, уверенно подошел к полке и вытащил книгу Г. Форда «Международное еврейство» в красной обложке. Для меня стало ясно: указал на книгу один мой знакомый по университету, который ни с того ни с сего заявился ко мне за неделю до ареста, смотрел книги и все спрашивал, плотоядно улыбаясь, – нет ли у меня какой-нибудь антисоветчины. Он уверял, что ужасно любит эту безвкусицу и пошлость.

Мать собрала вещи (мыло, белье, теплые вещи), мы попрощались. Как и все в этих случаях, я говорил: «Это недоразумение, скоро выяснится, я быстро вернусь». Но уже тогда в ходу были массовые и безвозвратные аресты.

На черном фордике, только-только появившемся тогда в Ленинграде, мы проехали мимо Биржи. Рассвет уже набрал силу, пустынный город был необычайно красив. Следователь молчал. Впрочем, почему я называю его «следователь». Настоящим следователем у меня был Александр (Альберт) Робертович Стромин, организатор всех процессов против интеллигенции конца 20-х – начала 30-х гг., создатель «академического дела», дела Промпартии и пр. Впоследствии он был в Саратове начальником НКВД и расстрелян «как троцкист» в 1938 г.

После личного обыска, при котором у меня отобрали крест, серебряные часы и несколько рублей, меня отправили в камеру ДПЗ на пятом этаже – дом предварительного заключения на Шпалерной (снаружи это здание имеет три этажа, но во избежание побегов тюрьма стоит как бы в футляре). Номер камеры был 273: градус космического холода.

В университете я увлекался Л. П. Карсавиным, а когда оказался в ДПЗ, то волею судеб попал в одну камеру с братом близкой Льву Платоновичу женщины. Помню этого юношу, – носившего вельветовую куртку и тихонько, чтобы не услышала стража, отлично напевавшего цыганские романсы. Перед этим я читал книгу Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae».

Пожалуй, эта камера, в которой я просидел ровно полгода, была действительно самым тяжелым периодом моей жизни. Тяжелым психологически. Но в ней я познакомился с огромным числом людей, живших по совсем разным принципам.

Упомяну некоторых из моих сокамерников. В «одиночке» 273, куда меня втолкнули, оказался энергичный нэпман Котляр, владелец какого-то магазина. Его арестовали накануне (это был период ликвидации НЭПа). Он сразу же предложил мне навести чистоту в камере. Воздух там был чрезвычайно тяжелый. Покрашенные когда-то масляной краской стены были черны от плесени. Стульчак был грязный, давно нечищенный. Котляр потребовал у тюремщиков тряпку. Через день или два нам бросили чьи-то шерстяные кальсоны. Котляр предположил – снятые с расстрелянного. Подавляя в себе подступавшую к горлу рвоту, мы принялись оттирать от плесени стены, мыть пол, который был мягок от грязи, а главное – чистить стульчак. Два дня тяжелой работы были спасительны. И результат был: воздух в камере стал чистым. Третьим втолкнули в нашу «одиночку» профессионального вора. Когда меня вызвали ночью на допрос, он посоветовал мне надеть пальто (у меня с собой было отцовское теплое зимнее пальто на беличьем меху):

«На допросах надо быть тепло одетым – будешь спокойнее». Допрос был единственным (если не считать обычного заполнения анкеты перед тем). Я сидел в пальто, как в броне. Следователь Стромин (организатор, как я уже сказал, всех процессов конца 20-х – начала 30-х гг. против интеллигенции, – не исключая и неудавшегося «академического») не смог добиться от меня каких-либо нужных ему сведений (родителям моим сказали: «Ваш сын ведет себя плохо»). В начале допроса он спросил: «Почему в пальто?». Я ответил: «Простужен» (так научил меня вор). Стромин, видимо, боялся инфлюэнцы (так называли тогда грипп), и допрос не был изматывающе длинным.

Потом в камере попеременно были: мальчик китаец (по каким-то причинам в ДПЗ сидело в 1928 г. много китайцев), у которого я безуспешно пытался учиться китайскому; граф Рошфор (кажется, так его фамилия) – потомок составителя царского положения о тюрьмах; крестьянский мальчик, впервые приехавший в город и «подозрительно» заинтересовавшийся гидропланом, которого никогда раньше не видел. И многие другие. Интерес ко всем этим людям поддерживал меня.

Гулять полгода водил нашу камеру «дедка» (так мы его звали), который при царском правительстве водил и многих революционеров. Когда он к нам привык, он показал нам и камеры, где сидели разные революционные знаменитости. Жалею, что я не постарался запомнить их номера. Был «дедка» суровый служака, но он не играл в любимую игру стражников – метлами загонять живую крысу. Когда стражник замечал пробегающую крысу на дворе, он начинал ее мести метлой – пока она не обессилит и не сдохнет. Если находились тут же другие стражники, они включались в этот гон и с криками гнали метлой крысу друг к другу – в воображаемые ворота. Эта садистская игра вызывала у стражников необычайный азарт. Крыса в первый момент пыталась вырваться, убежать, но ее мели и мели с визгом и воплями. Наблюдавшие за этим из-под «намордников» в камерах заключенные могли сравнивать судьбу крысы со своей.

Спустя полгода следствие закончилось, и меня перевели в общую библиотечную камеру. В библиотечной камере (в которой, кстати, после меня сидел, как вспоминает, Н. П. Анциферов) было много интереснейшего народа. Спали на полу – даже впритык к стульчаку. Там для развлечения мы попеременно делали «доклады» с последующим их обсуждением. Неистребимая в русской интеллигенции привычка к обсуждению общих вопросов поддерживала ее и в тюрьмах, и в лагерях. Доклады все были на какие-либо экстравагантные темы, с тезисами, резко противоречащими общепринятым взглядам. Это была типичная

черта всех тюремных и лагерных докладов. Придумывались самые невозможные теории. Выступал с докладом и я. Тема моя была о том, что каждый человек определяет свою судьбу даже в том, что могло показаться случаем. Так, все поэты-романтики рано погибали (Китс, Шелли, Лермонтов и т. д.). Они как бы «напрашивались» на смерть, на несчастья. Лермонтов даже стал хромать на ту же ногу, что и Байрон. Относительно долголетия Жуковского я высказал тоже какие-то соображения. Реалисты, напротив, жили долго. А мы, следуя традициям русской интеллигенции, сами определили свой арест. Это наша «вольная судьба». Через полвека, читая «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, я подумал: «Какая типично тюремно-лагерная выдумка» – вся его концепция о Пушкине. Впрочем, я и еще делал такие «ошарашивающие» доклады, – но уже на Соловках. Об этом после.

Самым интересным человеком в библиотечной камере был несомненно глава петроградских бойскаутов граф Владимир Михайлович Шувалов. Сразу после революции я встречал его иногда на улицах в бойскаутской форме с высокой бойскаутской палкой и в своеобразной шляпе. Сейчас, в камере, он был сумрачен, но крепок и подтянут. Занимался он логикой. Насколько я помню, это были какие-то соображения, продолжавшие «Логические исследования» Гуссерля. Как он мог для работы полностью отключаться от шумной обстановки камеры, – не понимаю. Должно быть, у него была большая воля и большая увлеченность. Когда он излагал результаты своих поисков, я, хотя и занимался перед этим логикой у А. И. Введенского и С. И. Поварнина (у которого занимался ранее и сам Шувалов), с трудом его понимал.

Впоследствии он получил высылку и полностью исчез из моего поля зрения. Кажется, его родственница (м. б., жена) работала в Русском музее, занимаясь иконами.

Странные все-таки дела творились нашими тюремщиками. Арестовав нас за то, что мы собирались раз в неделю всего на несколько часов для совместных обсуждений волновавших нас вопросов философии, искусства и религии, они объединили нас сперва в общей камере тюрьмы, а потом надолго в лагерях, комбинировали наши встречи с другими такими же заинтересованными в решении мировоззренческих вопросов людьми нашего города, а в лагерях – широко и щедро с людьми из Москвы, Ростова, Кавказа, Крыма, Сибири. Мы проходили гигантскую школу взаимообучения, чтобы исчезать потом в необъятных просторах нашей родины.

В библиотечной камере, куда по окончании следствия собирали людей, ожидавших срока, я увидел сектантов, баптистов (один из них перешел нашу границу откуда-то с запада и ожидал расстрела, не спал ночами), сатанистов (были и такие), теософов, доморожденных масонов (собиравшихся где-то на Большом проспекте Петроградской стороны и молившихся под звуки виолончели; кстати, – какая пошлость!). Фельетонисты ОГПУ «братья Тур» пытались время от времени вывести всех нас в смешном и зловредном виде (о нас они опубликовали в «Ленинградской правде» пересыпанный ложью фельетон «Пепел дубов», о других – «Голубой интернационал» и пр.). О фельетоне «Пепел дубов» вспоминал впоследствии и М. М. Бахтин.

Объединились и наши родные, встречаясь на передачах и у различных «окошечек», где давали, а чаще не давали, справки о нас. Советовались – что передать, что дать на этап, где и что достать для своих заключенных. Многие подружились. Мы уже догадывались – кому и сколько дадут.

Однажды всех нас вызвали «без вещей» к начальнику тюрьмы. Нарочито мрачным тоном начальник тюрьмы, как-то особенно завывая, прочел нам приговор. Мы стоя его слушали. Неподражаем был Игорь Евгеньевич Аничков. Он с демонстративно рассеянным видом разглядывал обои кабинета, потолок, не смотрел на начальника и, когда тот кончил читать, ожидая, что мы бросимся к нему с обычными lamentациями: «мы не виноваты», «мы будем требовать настоящего следствия, очного суда» и пр., Игорь Евгеньевич, получивший 5 лет, как и я, подчеркнуто небрежно спросил: «Это все? Мы можем идти?» – и, не дожидаясь ответа, повернул к двери, увлекая нас за собой, к полному недоумению начальника и конвоиров, не сразу спохватившихся. Это было великолепно!

Недели через две после вынесения приговора нас всех вызвали «с вещами» (на Соловках выкрикивали иначе: «Вылетай пулей с вещишками») и отправили в черных воронах на Николаевский (теперь Московский) вокзал. Подъехали к крайне правым путям, откуда сейчас отправляются дачные поезда. По одному мы выходили из «черного ворона», и толпа провожавших в полутьме (был октябрьский вечер), узнавая каждого из нас, кричала: «Коля!», «Дима!», «Володя!». Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, просто товарищей по учению или службе, грубо отгоняли солдаты конвойного полка с шашками наголо. Два солдата, размахивая шашками, ходили перед провожавшими, пока нас один конвой передавал другому по спискам. Сажали нас в два «стольпинских» вагона, считавшихся в царское время ужасными, а в советское время приобретших репутацию даже комфортабельных. Когда нас наконец распихали по клеткам, новый конвой стал нам передавать все то, что было принесено нам родными. От Университетской библиотеки я получил большой кондитерский пирог. Были и цветы. Когда поезд тронулся, из-за решетки показалась голова начальника конвоя (о идиллия!), дружелюбно сказавшая: «Уж вы, ребята, не сердчайте на нас: служба такая! Что если не досчитаемся?». Кто-то ответил: «Ну, а зачем же непременно матом и шашками на провожавших?».

Соловки

Наше счастье было в том, что отправляли нас на Соловки – тех, кто получил трехлетний срок, и тех, кто получил по пяти, – всех вместе в одном вагоне, хотя и в разных клетках (так называемые «стольпинские» вагоны имели решетки в коридор, по которому ходил конвой). И все-таки мы общались, делились сведениями о судьбе, о допросах, – кто что сказал. Больше всего мы боялись, что нас разлучат в лагере.

Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.

Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, – между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты – рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому – только с «нарядами» – листами на работу.

Ночью проходы между зданиями затихали. Высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво опиравшиеся на расширявшиеся книзу стены.

Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота, вне монастыря, – для заключенных, живших в различных «шалманах» – при мехзаводе, алебастровом заводе, при бане № 2 и т. д. Про лагерное кладбище говорили – 16-я рота. Шутили, но трупы в некоторых ротах зимой лежали незасыпанные и раздетые.

Почему заключенные распределялись по ротам? Я думаю, тут известную роль сыграли заключенные из военных, сами устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова лагерников. Тюремщики сами ничего не могли сделать, организовать тем более. Военные были поначалу единственной организующей силой, способной разместить, накормить, навести элементарный порядок прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.

Первая рота была ротой «привилегированных» – командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора и глядела окнами на площадь общелагерных проверок. Над первой ротой помещалась третья, «канцелярская», с окнами в обе стороны. Где была вторая рота, не помню. Шестая – «сторожевая» – состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки заключенным и т. д. Она помещалась в основном здании, тоже обращенном на площадь проверок. Седьмая рота – «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавшие собой «перевоспитательную» работу на Соловках. Восьмая, девятая и десятая роты тоже были

«канцелярскими». Одиннадцатая рота – это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках» – узких высоких скамьях, а спали прямо на полу. К карцеру пришлось прибегнуть, когда в Соловки стали прибывать уголовные и против них стали приниматься меры самими заключенными «каэрами» («контрреволюционерами», по терминологии начальства). В конце концов прибытие нового большого числа заключенных заставило превратить в роту трапезную. Трапезная единостолпная палата, по своим размерам превосходившая Грановитую палату Московского Кремля, первоначально использовалась по своему прямому назначению – как общая столовая для всех заключенных. Когда помещений в монастыре стало не хватать, превратили в роту помещение, вход в которое был через трапезную. Это была двенадцатая рота.

Из всех рот тринадцатая была самой большой и самой страшной. Туда принимали вновь прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать, и направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в тринадцатой роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».

Нас выстраивали по утрам на длительную поверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Строились по десять человек, пересчитывались, и последний в строю орал, помню:

«Сто восемьдесят второй полный строй по десяти».

Порой в тринадцатой карантинной роте на нарах вплотную друг к другу помещалось три-четыре, а то и пять тысяч человек. Конечно, мы все были во вшах. Только по особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо из карантинной роты.

Помню, как начальник здоровался с нами:

– Здравствуй, карантинная рота!

И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия» хором гаркали:

– Здра!

Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них «чубаровцы»: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в 1927 г. в Ленинграде) и получали наряды на работу.

В четырнадцатой роте, помещавшейся за единостолпной трапезной палатой, и в прилегающих помещениях жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного пребывания в тринадцатой роте по «командировкам» и дожидался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.

Пятнадцатая рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой блатной, т. е. самой привилегированной. На этом официальное число рот в лагере заканчивалось. Кроме того, были «командировки» – заключенные, работавшие в Савватиеве, Филимонове, на островах – Муксалме, Анзере, Зайчиках, на различных торфо- и лесоразработках.

«16-я рота», как я уже сказал, – кладбище.

Кроме рот в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале, недалеко от прачечной.

Вот, кажется, и все из «жилого» фонда в центральном «кремлевском» участке.

Кроме «жилых» помещений в пределах Кремля были еще и «работающие»: баня, там, где Сушило; адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали, главным образом, лучшие организаторы – бывшие военные); ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивающая информаторов (сексотов) из заключенных (для их приема был предназначен ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля); «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом отсеке Кремля недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное – в Кремле существовал музей. В музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве.

Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются) существовал «монастырь»: два десятка монахов с игуменом,

схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т. д. Ловили они навагу, но главным образом – знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля, за что сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь «исчезла» (может быть, в знак невыполнения УСЛОНОм своих обязательств перед монахами?). Что случилось потом с монахами – изгнали или уничтожили – сказать не могу, не знаю. Жил монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудесные выпасы для скота).

Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольной, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок), после чего приезжала телега с ящиком, куда бросали труп (отсюда пошло выражение «сыграть в ящик»), и приходили полomoйки – мыть пол от крови. Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI века – митрополита Филиппа. Была кипяtilьня около хлебопекарни, где из выходявшего в подворотню крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).

В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые били ими слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.

Вход и выход из Кремля разрешен был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверявшие пропуски в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них же выводили на расстрелы – это был кратчайший путь из одиннадцатой (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы.

За пределами Кремля в здании бывшей монастырской гостиницы помещались управление СЛОН, женбарак, мехзавод (бывшая кузня), сельхоз, баня № 2 (где принималась санобработка и где просиживали по несколько часов голые заключенные, пока пропаривалась в вошебойке их одежда), алебастровый завод, канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживаемая двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился кирпичзавод (кирпичный завод).

Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только в моих пеших командировках для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 г.

Я не могу не сказать особо еще о двух учреждениях, игравших большую роль в умственной жизни на Соловках: Музее и Солтеатре. Они не только спасли жизнь многим интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени жить умственной жизнью.

Я очень опасаясь, что мемуарная литература о 20-х и 30-х гг. создает одностороннее представление о жизни тех лет, а, главное, о жизни в заключении. Совсем не все ограничивалось страданиями, унижением, страхом. В ужасных условиях лагерей и тюрем в известной мере сохранялась умственная жизнь. И эта умственная жизнь была даже в некоторых случаях весьма интенсивной, когда вместе оказывались люди, привыкшие и хотевшие думать. Перефразируя известную лагерную поговорку «был бы человек, а статья для него найдется», можно было бы сказать – «был бы думающий человек, а мысли у него будут».

Мой школьный учитель и «одноделец» И. М. Андреевский в журнале «Соловецкие острова» опубликовал статью, посвященную нервным и психическим заболеваниям на Соловках. Он открыл даже особую психическую болезнь, в названии которой сохранил ее соловецкое происхождение (сейчас не помню). Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить «пайку» хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслившие бытие в духовном масштабе.

Соловки были именно тем местом, где человек сталкивался с чудом и с обыденностью, с монастырским прошлым и с лагерным настоящим, с людьми всех уровней нравственности – от высочайшей до самой позорно низкой. Здесь были представители разных национальностей и разных профессий – бывших и настоящих. Сталкивались две эпохи: одна дореволюционная, а другая сугубо современная, – типичнейшая для двадцатых и начала тридцатых годов.

Жизнь на Соловках была настолько фантастической, что терялось ощущение ее реальности. Как пелось в одной из соловецких песен: «все смешалось здесь, словно страшный сон».

Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920-х и 1930-х гг. – это стремление перенарядить «преступный и постыдный» мир лагеря в смеховой мир. Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались «политические», т. е. люди, официально состоявшие в политических партиях, зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое содержание на Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие каэры (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках – тупость начальства и его распоряжений, фантастичность и снопоподобность всей жизни на острове (мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности).

Характерны для Соловков странички юмора в журнале «Соловецкие острова», сочинявшиеся по преимуществу Ю. Казарновским и Д. Шипчинским, а отчасти и «Артуручем» – Александром Артуровичем Пешковским. Анекдоты, «хохмы», остроты, шуточные обращения друг к другу, шуточные прозвища и арго, как проявление той же шутовскости, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее. Настоящая жизнь ждет вас по возвращении... Ощущение нереальности бытия поддерживалось своеобразной атмосферой белых ночей летом и черных дней зимой, а в промежутках – длинными утрами (без ощущения дня), переходящими в столь же длинные вечера, пустынностью лесов и гибельностью болот, обилием темных камней, покрытых яркими лишайниками и мхами. Разнообразие пейзажей на главном острове было удивительным, и каждый остров в Соловецком архипелаге был непохож на другой.

Освобождение

Летом 1931 г. начался вывоз «рабсилы» из Соловков на неофициально начавшееся строительство Беломоробалтийского канала. При отправке учитывалось – сколько осталось до конца срока. С Соловков уехали Владимир Раков, Федя Розенберг и многие другие. Федя на Медвежьей Горе оказался сразу на хорошей счетной должности, так как нужда в квалифицированных бухгалтерях в лагерях всегда была острой. Он слал мне вызов за вызовом как «крупному специалисту-бухгалтеру», чтобы вести главную картотеку Беломорстроя. Меня стали вызывать на этап. Внизу в музыкантской команде вызвали ехать вместе со мной трубача Владимира Владимировича Олохова – бывшего полковника Семеновского полка. Музыканты провожали Олохова торжественно. Произносились речи, сыграли марш «Старые друзья» (так, кажется, назывался марш, который был одним из популярных маршей старой армии, но под другим названием). Единственную на Соловках лошадь, которая возила трупы, запрягли, и она повезла наши пожитки (были и другие отправляемые). Корзины к этому времени у меня уже не было (украли), а приготовлен был фанерный чемодан. Чемодан оказался таким прочным, что он не разбился, когда упал с самой верхушки воза. Нас привезли в карантин, раздели, посадили голыми в бане № 2 ждать, когда вернут из вошебойки нашу одежду. Ждали несколько часов. Из музыкантской команды принесли нам еду. К вечеру объявили: «Назад по камерам». Мы прожили две недели (примерно), и снова вызов, снова речи (но уже покороче), и снова марши. Снова баня, и снова команда: «Назад по камерам»: ИСЧ (Информационно-следственная часть) нас не пускала.

По третьему вызову, на который мы с Владимиром Владимировичем отправились уже без речей и маршей, нас все-таки отпустили на материк. С Владимиром Владимировичем Олоховым я впоследствии встретился в Ленинграде на Каменноостровском проспекте. Его вел под руку молодой человек. Владимир Владимирович был совершенно слеп. Жена его умерла, он жил у дочерей. Дочери перед самой войной, когда изменилось отношение к русской армии, вернули хранившееся у них знамя Семеновского полка. Его спас Владимир Владимирович в 1917 г., когда

произошел развал армии. Владимир Владимирович обмотал его вокруг себя и вывез с фронта: так он мне рассказывал.

...Медвежья Гора встретила нас солнцем, которого мы давно уже (с лета) не видели на Соловках, и чистым, только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении.

Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 г. 8 августа я был и в самом деле освобожден.

Нас привели в лагерь около Онежского озера, построили на площади среди бараков, и вдруг я услышал приветливый женский голос, который выкликнул: «Дима Лихачев!». Услышать такой вызов из этапа в лагере, я думаю, редко кому удавалось. Это была подчиненная Феде Розенберга, который позвонил в лагерь из Управления строительством и велел отвезти меня в барак. Мне дали верхнюю полку на нарах «усовершенствованной» вагонной системы, но как раз под трубой от времянки; трубу этой времянки в холодные ночи раскаляли так, что она становилась красной, и мне приходилось закрываться от нее своей шубой и не спать от жары. Зато утром я умывался по-царски. На улице стояли железные рукомойники, в которых вода за ночь иногда замерзала. Я раздевался до пояса и наслаждался холодом, воздухом, светом.

Мне был выписан пропуск, по которому я ходил через «вольную» часть Медгоры в здание Управления. Там встретил меня Федя, усадивший меня за главную картотеку строительства Беломорканала, – усадивший, но приказавший не работать. Первые дни он делал всю работу за меня, оставаясь на вечерние часы, а затем разрешил кое-что делать и мне при условии не прикасаться к счётам, чтобы во мне не узнали новичка. «Опытный счетный работник на счетах как играет», – сказал мне Федя. Жил Федя в сравнительно приличных для лагеря условиях: недалеко от здания Управления был хороший барак с топчанами. Я ходил к нему обедать с Володей Раковым. Раков обычно и готовил. Мы ели на топчане у Феде из общей кастрюльки. Недалеко, помню, был топчан бывшего бухгалтера Михайловского театра в Ленинграде немца Коппе. У него была даже мясорубка. Федя часто обращался за хозяйственными предметами к «Коппочке», как он его называл. В том же бараке я видел певца Ксендзовского, министра Временного правительства Некрасова, скрипача Хейфица. Про последнего говорили, что он брат уехавшего в США пианиста. Помню его стоящим на крыльце барака. У него был надменный вид. Он был худ и высок ростом.

Был ли он братом знаменитого пианиста на самом деле, я так и не дознался...

На Медгору приехали ко мне на свидание родители. Было чрезвычайно трудно найти комнату. В конце концов нашли хозяев, которые согласились, чтобы мы ночевали у них на полу. Медгора была до ужаса переполнена. Брат хозяина, вечно пьяный, приставал к моему отцу: «Ты офицер. Я сразу вижу. Я этих офицеров...» Мы с отцом ночью уходили из комнаты, а он пьяный шел за нами и бубнил свое. В общем положение становилось опасным. Моим родителям пришлось уехать на 2–3 дня раньше окончания срока свидания.

В самом начале августа 1932 года я получил распоряжение приехать в Медгору за документами на освобождение. Канал считался законченным, и всем освобождавшимся в тот момент стали давать досрочное освобождение без всяких ограничений. Насколько это распространялось на меня лично и на мой ли срок только – я не знал. Я отправился в Медгору, провел там дня два-три и получил документ, в котором указывалось, что я, как «ударник» строительства, освобожден до срока и с полным правом проживания по всей территории СССР, т. е. я мог вернуться в Ленинград к родителям!

Вместе со мной на полгода раньше срока были освобождены все пятилетники по нашему делу: Голя Тереховко, Федя Розенберг, Володя Раков и др. Итак, я провел 9 месяцев на Шпалерной, три года на острове, а остальное время – (9 месяцев) на Беломорбалтийском канале.

В первой половине августа мы уже были в Ленинграде. С пропиской все обошлось благополучно, но с устройством на работу было сложнее. Ленинград был уже не тот, что в двадцатые годы: боялись устраивать на работу не только бывших заключенных, но и их родственников.

Снятие судимости

Пять лет, по самый 1937 год включительно, я проработал «ученым корректором» в Издательстве Академии наук СССР на Менделеевской линии, 1. Не скажу, что это была плохая

работа. Она мне давала возможность укрыться, не высказываться по «острым вопросам». Я часто хворал, попадал в больницы в острые периоды моей болезни (язва 12-перстной кишки, не слишком болезненно переживая подозрения в раке или еще в чем-либо не менее приятном). Подозрения оказывались напрасными, соседи иногда интересными, книги по большей части увлекательными.

Большая корректорская (один из бывших залов Палеонтологического музея, перевезенного в Москву) была оживлена «бывшими людьми», окончившими Лицей, Училище правоведения, просто университет, с которыми иногда, оторвав голову от корректуры, можно было перекинуться двумя-тремя словами. Корректоры по воскресениям устраивали поездки за город в дворцовые пригороды. Я не мог с ними ездить из-за своей язвы, и это было самое большое упущение за все время пребывания в издательстве. Ведь знали они пригороды не как читатели и посторонние: либо бывали там сами до революции, либо слышали от своих знакомых. Я упустил возможность узнать пригороды Ленинграда как современник их расцвета. Оставаясь по воскресеньям лежать в кровати, я все-таки многое о них слышал и старался читать. Неизменным организатором поездок за город, а летом по старым городам и монастырям России был энциклопедически знавший Россию Лев Александрович Федоров – технический редактор и один из образованнейших людей, которых я встречал. Погиб он в блокаду в бомбоубежище Зимнего дворца от чистого голода.

...В очередной раз я лежал в больнице, когда в Ленинграде началась паспортизация. Период паспортизации был одним из самых страшных периодов в жизни больших городов. Люди Москвы и Ленинграда жили в напряжении, ожидая решения своей судьбы: каково будет решение паспортных комиссий. Строгих инструкций не было. В Ленинграде не давали паспортов дворянам, а в дворцовых пригородах еще и бывшим служащим дворцов. Последнее было ужасно не только для людей, но и для дворцов. Дворцовая обслуга была честной и хранила всякую мелочь. Приходившие ей на смену «кадры» утаивали, воровали, «списывали», ничего не понимая в «вещах», – в предметах искусства. Пропадали ценнейшие сведения, передававшиеся из уст в уста, легенды, предания и даже некоторые традиции. С высылкой же дворянства изменялся культурный облик городов. Улица меняла свое обличье. Другими стали лица прохожих (своей одежды улица сменила давно).

Появилась своя паспортная комиссия и в Академии наук. Заседала она в главном здании Академии. Я очень боялся, что меня вызовут и начнут спрашивать о моем деле и выпытывать – как я отношусь к советской власти сейчас. Поэтому, когда я заболел и попал в больницу, я даже как-то не очень стремился выписаться из нее. Выписавшись, я узнал: паспортная комиссия в Академии закончила свою работу. Думал – пронесло (была такая скала на Военно-Грузинской дороге, которую называли «Пронеси Господи»). Ее часто вспоминал отец). Однако ж не пронесло. Мне объявили, что паспорта мне не дают. Назначили срок выезда из Ленинграда. Не дали паспортов Феде Розенбергу, Толе Тереховко, А. П. Сухову – всем, кто имел «судимость». Отец страшно волновался. Искал влиятельных лиц и, знаю, у кого-то плакал (мне говорили). Наконец, нашелся кто-то (кажется, секретарь райкома), который обещал помочь, но хотел повидать меня. Жил он на Каменноостровском (тогда называвшимся «Улицей Красных Зорь») перед домом Лидваля, если идти от Троицкого моста, в надстройке. Помню, что меня угощали чаем. Говорить было не о чем. За столом сидели секретарь и его жена, которая смотрела на меня с жалостью. Кончилось тем, что мне дали отсрочку на «долечивание».

И вот тут на помощь пришла Зина. Мы еще не были женаты: только собирались. Известно было, что «ученый корректор» Екатерина Михайловна Мастыко в молодости веселилась вместе с детьми академика Зернова в одной компании с наркомом Н. И. Крыленко. Зина уговорила ее съездить к Крыленко. Съездить было не просто. Надо было преодолеть пролегшую между ними дистанцию времени, дистанцию общественных положений. Я представляю себе – как нелегко было Екатерине Михайловне показаться ему постаревшей, изменившейся. А потом: на что ехать и в чем? Деньги собрали. Кофточку – Зинину – дали, отправили. Вернулась Екатерина Михайловна довольная и объяснила: надо заpastись ходатайством президента Академии Александра Петровича Карпинского, а у Крыленко на приеме во всем слушаться секретаря Крыленко. Екатерина Михайловна, помню, сказала: она бывшая рабочая, толковая, хорошая женщина. Я знаю только, что в разговоре с Крыленко Екатерина Михайловна назвала меня

женихом своей дочери Кати, которую я в глаза не видел (она зашла к нам уже лет через десять – после войны).

Хорошая была женщина Екатерина Михайловна. В конце концов: что была для нее Зина и что был для нее я, и стоило ли ей, знавшей все о Крыленко, рисковать, напоминая ему о себе?

Объяснили мне, как получить ходатайство у Президента Академии наук Александра Петровича Карпинского.

Я должен был прийти к Карпинским домой в московский особняк на Пятницкую улицу, встретиться там с дочерью Карпинского Толмачевой, поцеловать (непрерменно) ей руку и передать письмо от нашего директора издательства Михаила Валериановича Валерианова с просьбой похлопотать обо мне. Я так и сделал, ехал самым дешевым поездом в Москву и сразу с вокзала отправился на Пятницкую. Позвонил. По крутой и узкой для такого роскошного особняка лестнице меня провели на второй этаж с большим залом. Как мне и указали, я поцеловал руку, заплетающимся голосом проговорил свою просьбу, которую перед тем затвердил наизусть, и подал письмо. Толмачева не удивилась, сразу пошла в небольшой кабинет за залой и стала кричать на ухо Александру Петровичу: «Пришел молодой человек, воспитанный. Воспитанный! Надо подписать ему просьбу. Подписать!». После этого она села за машинку, и я услышал быстрый стрекот машинки. Молча вынесла и подала мне письмо в роскошном конверте, какого я в Советском Союзе отродясь не видел. Сразу от Толмачевой я направился в Наркомюст.

Приемная у Крыленко была переполнена. Пожилая (или казавшаяся мне тогда пожилой) женщина сразу подошла ко мне, как к знакомому, взяла у меня письмо Карпинского, которого я даже хорошенько и прочесть не успел, и строго сказала: «Стойте здесь (место она мне обозначила на виду у всех), и как бы вас не бранил Николай Васильевич – молчите и ничего не отвечайте и не отрицайте». Я был немного удивлен: ведь остальных Крыленко принимал в кабинете. Вскоре из кабинета выскочил (вернее, выкатился) коренастый, плотный, даже немного полноватый человек со «спорсменскими» движениями и сразу набросился на меня, как мне показалось, с кулаками: «Мы революцию делали! Мы кровь проливали! Судьба человечества решается! А вы дурака валяли! «Космическую академию» устраивали! Над нами потешались – что ли? Этому безобразию слов нет» и т. д., и т. п. Словоизвержение продолжалось несколько минут. После, держа ходатайство в руках, он с такой же быстротой влетел в свой кабинет, а секретарь, поманив меня рукой к своему столу, стала меня спрашивать: номер бывшего паспорта, домашний адрес, место работы, адрес работы, служебный телефон Валерианова и пр. Велела ждать в Ленинграде и сообщить ей, если меня тронут. Все это тихим голосом и как бы по секрету. В тот же день я вернулся в Ленинград. Я ждал несколько месяцев. Никто и никуда меня не вызывал.

В разгар лета меня позвали на почту и вручили конверт из ЦИКа. Там находилась бумага о снятии с меня судимости.

Полвека я думал: «Ну, все!», – но оказалось (в 1992 г.), что это не реабилитация.

Правда, недоразумения бывали только тогда, когда возникали вопросы о прописке – в Казани сперва, в Ленинграде после...

Сперва мне было непонятно – зачем нужна была вся эта явно разыгранная сцена в приемной? Когда вскоре Крыленко арестовали, я понял. За Крыленко уже следили, и он боялся явных обвинений в покровительстве каэрам. Он демонстрировал перед всей толпой в приемной свою полную преданность советской власти. Не скажу, что эта демонстрация была для меня особенно приятна, но своего она достигла, и Екатерине Михайловне Мастыке я до гроба обязан...

Блокада

В 1941 г. мы сняли дачу в Вырице. Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил тогда младшим научным сотрудником в Пушкинском Доме и получал мало. Правда, мы брали еще в Издательстве рукописи на монтировку и даже внесли в это дело кое-какие усовершенствования (вместо того, чтобы заклеивать маленькими кусочками бумажки вычеркнутые буквы и отрывки, мы стали их замазывать гуашью, что убыстрило работу), но заработок все же оставался очень маленьким. Помню, что в нашей дешевой даче была комната и балкон. В том же доме, только что выстроенном, жили и еще какие-то дачники. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе – тогда

резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова. Я ездил на дачу часто и иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы.

Лето было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбрав место с небольшим «пляжем», на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным «пляжем» проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали: не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 г., но их взволнованные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама и Юра услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побелел. В городе меня поразила тоже мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском Доме, но с оглядкой.

Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: научные учреждения АН должны быть законсервированы, начались сокращения, продолжавшиеся до весны 1943 г., сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский Дом, менялись несколько раз в неделю.

Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили – слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались.

Пугали слухи об эвакуации детей. Были, действительно, отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать... Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород – навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 г., многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов – в их числе и «отцов города».

«Эвакуация» была насильственной, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами в Вырице жил и М. П. Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации: мы – дочерей, а он – внуков.

Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского Дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал с Вырицы в поезде из одних мягких вагонов (состав откуда-то был «пригнан»). Стекла в поезде были выбиты: немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко пролетели над дачей немецкие «мессершмиты». Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и так же внезапно исчезали.

Однажды после ночного дежурства в Пушкинском Доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский. Он решил, что жить в Вырице «хватит», перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами: на даче остались только ходики, корыто, детские кровати, шезлонг и еще что-то.

Только в России существовало такое количество чудачков и оригиналов. К их числу относился и Михаил Петрович Барманский, сыгравший такую большую роль в жизни нашей семьи.

В Первую мировую войну он был офицером и сохранил от того времени военную выправку, усы, требовательность к себе и подчиненным. Ходил он одетый как чернорабочий: ватник, кирзовые сапоги, а потом – и старая солдатская шинель сына, погибшего на Великой Отечественной. Когда-то был рыжим, но я его помню только совершенно седым. Он считал

недопустимым ублажать свой «мешок с костями», ел сырые овощи или каши, ходил пешком в своих порывевших сапогах. Приходил даже к нам на дачу, охотно ел у нас что-нибудь вегетарианское и, задав два-три «принципиальных» мировоззренческих вопроса, уходил.

Умер он уже на пенсии, ему было далеко за восемьдесят, и в последние годы говорил: «Хочу прожить еще: досмотреть кинематограф». Под «кинематографом» он подразумевал историю современной ему России. Очень интересовало его все происходящее, и никак он не мог понять – «чем же это все кончится?».

Работал он много, зарабатывал немало, но на себя тратил как можно меньше: это было его правилом. Помогал родным, бедным, давал в долг своим подчиненным (в последние годы он заведовал корректорской в Издательстве Академии наук) и никогда не требовал назад.

Глядел он на людей сурово и часто исподлобья, но когда улыбался, то так искренне и приятно, что люди, удостоившиеся его улыбки, надолго оставались с ощущением какой-то глубокой радости в душе.

В 1941 г., когда мы жили на даче в Вырице, он узнал, что немцы совсем близко (а в газетах сообщали, что «бои идут в районе Пскова»), приехал в Вырицу (а я ничего не подозревал и был в городе), вывез всю мою семью – Зинаиду Александровну, детей и домработницу Тамару. Он не стал терять времени, чтобы разыскать меня (телефоны были выключены), а сделал все сам. Вот образец действенной доброты.

Умер он так же, как и жил: никого не утруждая.

А В. Л. Комарович с семьей остались на Сиверской и переехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Эти полторы недели стали роковыми для Комаровичей: они не успели ничем запастись...

Ко времени нашего возвращения с Вырицы в Ленинград существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате. Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых выросли заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля.

Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы – почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе – с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио.

* * *

Передаю перо Зине.

«В тот год мы поехали на дачу 19 июня. Наняли грузотакси и на нем перевезли все вещи. У нас была хорошая комната и веранда: все маленьких размеров, но квадратные. Няня Тамара спала наверху, около чердака. Погода была прекрасная, и дети быстро стали поправляться. Мы благополучно прожили всего девять дней: ходили купаться на речку, гуляли в лесу и лежали на траве в нашем дворе около веранды. Когда мы купались, то девочки ложились мне на спину, и я

плавала. После объявления войны я осталась без Тамары, так как она поступила на завод, но оставалась в нашей квартире на Лахтинской улице (дом 9, квартира 12).

Мы жили на Вырице до 18 июля. К нам приехала на несколько дней бабушка. Нас перевез М. П. Барманский. Это было в воскресенье под вечер. Он помог мне собрать вещи, и мы приехали с детьми в город. Вот не помню, как мы все перевезли. Помню, что как-то раньше я привезла в город два тяжелых чемодана, возможно, что помогала Тамара. На даче остались детские кровати, посуда, шезлонг. Всю блокаду девочки спали уже на кроватях взрослых. Одну кровать дала Нина Урвачева.

В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались, и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми, так как до введения карточек на них давали продукты: лишний килограмм крупы.

Карточки ввели, и мы стали сушить хлеб и булки в чудо-печке, на керосинке. Только потому, что Митя советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 граммов. Когда ввели карточки, то норма была 600 граммов для служащих и 400 граммов для иждивенцев и детей.

Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла. Мы хранили картошку в кухне, а масло за дверью. Я стала замечать, что эти запасы понемногу уменьшаются, хотя мы их не трогали. Мы решили, что в этом виноваты наши соседи Кесаревы, и стали все продукты хранить у себя в комнате.

У нас был запас в несколько бутылок рыбьего жира. Это было важно для детей».

* * *

Продолжаю писать.

Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих детей. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город.

Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то закрипело на чердаке, и мы слышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровской и Рыбацкой – не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал Блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод, и людей, спасавшихся в нем, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа). Он продолжал лежать в постели, упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы. Но все же мы присмотрели комнату на первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее – одинокая женщина – служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее.

Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли в Ботаническом саду. Сохранились снимки – мы с детьми в Ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пойти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали

«проверять». Так было, например, с М. А. Панченко (нашим ученым секретарем). Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки, по слухам, находились в трубах домов (их было видно только сверху), на Марсовом поле и т. д. Какая-то доля истины в этих случаях, может быть, и была: немцы действительно знали все, что происходит в городе.

8 сентября мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и, наконец, приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы – к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского Дома, на Большом меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад Печатного Двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знаменами грядущих бедствий.

Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. При взгляде на них становились ясными все ужасы эвакуации.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского Дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке в квартире, – Колосовских, я расскажу после. Когда «фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы – собирать овощи с огородов под пулями немцев. Ездили и Комаровичи за капустными кочерыжками. Это дало им возможность немного запастись продовольствием.

В. Л. Комарович был единственным, кто заходил к нам в Ленинграде из знакомых. Тогда приходили только родные. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу, и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еда – ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуру Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося его хоть немножко еды, Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев – последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу.

Комарович все строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно. Помню его еще до войны на Кронверкском проспекте (теперь проспекте Горького): он читал вывешенную газету с сообщениями о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит, но В. Л. перед газетой сказал:

«Британский лев старый и опытный. Его не так-то легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я и сам начал с тех пор думать так же.

Заходил к нам и панически настроенный Петя Обновленский: он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам встал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся: ступеньки, падая, образовали над ним свод. Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а Петю отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы, и вот как. Петя «догадался»: он заявил властям, что у него при бомбежке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше.

Помню – я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». – «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» – «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню – один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые.

Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до «гигиены».

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, – это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получать карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ.

Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимо количество, но и людей с несколькими карточками было немало. Особенно много карточек оказывалось у дворников; дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда (жмыхи) выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918–1920-х гг., когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!

Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях – с юга Ленинграда на север: финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Териок в первый же день войны. Детей ей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшеленом в Тетюши – под Казань. Так же пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы сняли дачу в Териоках.

Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском Доме. Там в августе и сентябре работали буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и... переставали встречать.

Уже в июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Их поочередно приглашали в директорский кабинет, и здесь Л. А. Плоткин с секретарем парторганизации А. И. Перепеч «наседали». Помню, М. А. Панченко вышел бледный с дрожащими губами из кабинета: он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит». Я это слышал. Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько недель его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области. А Л. А. Плоткин, записывавший всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат

Института свою «хорошую знакомую» – преподавательницу английского языка и устроив ее также в свой самолет по броне Института.

Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед Историческим факультетом. Помню среди маршировавших Б. П. Городецкого и В. В. Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру В. В. Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А В. В. Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен...

Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (впоследствии их съели, и они спасли жизнь многим физиологам). В Библиотечном институте срочно строили нары для всех нас, чтобы перевести на казарменное положение. Нам с В. В. Гиппиусом показали даже наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и... ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными». Часть сотрудников ездил под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаруживались таланты: В. Ф. Покровская лечила травами и спасла от смерти С. Д. Балухатого. М. О. Скрипиль был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли телку. Кто-то смог ее зарезать. Но за город ездили и для других целей. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах.

Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума по подсказке нашего директора – П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В. Ф. Покровскую, затем М. О. Скрипилю. Уволили всех канцеляристок и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В. Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал из города в середине зимы.

Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков – молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться.

...Но «на подлежащее возвратимся». В буфете собирались «пожарники», «связисты», вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями (не кочанными, а верхними – жесткими) и без конца разговаривали. Особенно много говорил Г. А. Гуковский. Тут выяснилось, что он по матери русский (из Новосадских), что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Гуковский был в панике. В панике был и Александр Израилевич Грушкин. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой набекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что, когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина.

Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!

Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН. В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков

Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в Издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба – я не дойду до дому!». Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к В. Л. Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу.

Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанной по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 г. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами: говорили, так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом, в 1945 г., мы с трудом смогли его отмыть.

Мне часто приходилось ночевать в Институте. Мы дежурили: спали одетыми на «мемориальных» диванах (помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах И. С. Тургенева из Спасского-Лутовинова). Вместе с нами дежурили и «словарники» (картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском Доме и была перенесена для сохранности к нам вниз). Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и др. Однажды утром, войдя в комнату, где спал Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике.

Дежурить в Институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили Петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 1941 г., и справиться – живы ли мои – было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался, но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными.

А ходить становилось все труднее. Я состоял «связистом», и иногда надо было идти на квартиру к служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника «Скорой помощи» Месселя. Я видел город и днем, и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в ночной темноте, почти без людей, стремившихся и не выходящих из своих квартир.

Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожары в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома все колот дрова на плите для наших «буржук» (пригодился опыт первого петроградского голода 1918–1919 гг.).

Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой (трамваев не было). Когда переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шаги. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов «тех» снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус, но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он – самый невыдержанный и самый раздражительный человек из всех, кого я только знал.

* * *

Передаю перо Зине.

«Все домашние хозяйки дежурили на улице, сидя у парадной двери. Вечером нужно было следить, хорошо ли затемнены окна. Все в доме перезнакомились во время дежурств и все

разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая мне предложила спать с детьми в комнате первого этажа окнами во двор...

Я помню этот страшный взрыв на Гейслеровской. Я спала на складной кровати посередине комнаты. Когда пронеслась эта бомба, было такое чувство, что лежишь в воздухе и вокруг пустота. Мы не спускались в бомбоубежище, и за всю войну я там ни разу не была. Недели три ходили на первый этаж, а потом перестали и это делать. Помню, как я старалась «отоварить» карточки. Карточки выдавали, но продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбежкой, чтобы получить продукты. Я получала их для всей семьи и для бабушки с дедушкой. В конце октября я, получив все продукты, счастливая вернулась домой. Вместо масла получила голландский сыр. Сергей Михайлович поцеловал мне руку, поблагодарил и сказал, что если бы не я, то он не получил бы продуктов. Так я отоваривала все карточки, кроме декабрьских. По ним мы не получили масла.

Я вставала в два часа ночи, когда все спали. Ходила в валенках и в большом платке (белом, я его купил в Пятигорске. – Д. Л.), и в рукавицах. Сверху сукно, а внизу детское шерстяное платье.

Михаил Иванович и Ольга Сергеевна обещали нам достать дуранду по большой цене, а у нас не было денег. Деньги я взяла у своего папы, но дуранду нам так и не достали. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал Василий Леонидович Комарович. Он пришел к нам, мы его угощали чаем с хлебом. Он сказал: «Теперь хлеб как пряник». Мы были в тяжелом настроении. Он старался нас подбодрить и говорил: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с вами большие дела сделаем». А потом сам вскоре заболел и в феврале умер.

В. Л. Комарович советовал менять прежде всего женские вещи. Я пошла на Сытный рынок, где была барахолка. Взяла свои платья. Голубое крепдешинное я променяла за один килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье променяла на килограмм 200 грамм дуранды. Это было лучше. Дуранду мы томили, мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки.

Как мы варили суп? Получали 300 граммов мяса. Мелко нарезали это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа.

Зима началась очень рано и была очень холодная. Дрова у нас были благодаря стараниям Сергея Михайловича. Дворник отказался носить и посоветовал нам все дрова перенести домой.

* * *

Продолжаю писать вместо Зины.

Я тоже помню, как Василий Леонидович посоветовал нам менять женские вещи. Он сказал: «Жура наконец поняла, какое положение: она разрешила променять свои модельные туфли». Жура – это его дочь, она училась уже в Театральном институте. Василий Леонидович иногда жаловался на ее эгоизм (помню его фразу: «Вы не знаете, что значит иметь в доме кончающую гимназистку!»). Модные женские вещи – единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих.

А что такое дуранда – зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.

Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте – 8 плиток. Одну плитку я держал про запас: так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий.

* * *

Передаю перо Зине.

«В клей клали сухие корни и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала в блюда, где он застывал.

Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа.

В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 150 рублей. Они ценились так же, как письменный прибор.

Как мы отапливались? Сергей Михайлович еще весной купил дрова, но распилить и расколоть не успели, а когда началась война, дворник отказался это делать. Дрова стали растаскивать, поэтому мы решили их поднять на пятый этаж. Я помню, таскали их Сергей Михайлович, я, Юра и Тамара. Сложили их в кухне под окном. Потом мы в кухне их пилили, а Сергей Михайлович мелко колол для буржуйки, на которой готовили пищу. Вначале мы топили в комнате изразцовую печку. На наше несчастье, она испортилась, и нам пришлось звать печника и платить ему вином, которое выдавали по карточкам и которое мы могли бы обменять на хлеб.

Когда Юра с Ниночкой эвакуировались, они отдали нам свою замечательную буржуйку. Мы ее поставили в комнату и уже готовили в комнате и обогревались.

У Ниночкиного знакомого Роньки мы обменяли мои золотые часы на 750 грамм риса. Часы были золотые, заграничные, плоские, но не шли. Бабушка выменяла на золотой браслет 3 килограмма сливочного масла и один килограмм дала нам украдкой от бабушки (у бабушки началась патологическая жадность – следствие дистрофии)».

* * *

Снова я начинаю писать.

Наш рассказ похож на детскую игру: каждый следующий пишет продолжение, не зная, что написал предыдущий; получается ерунда, которую потом весело читать. Но в том, что мы пишем, веселого нет. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное.

Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать.

А перед тем – осенью – приходил Дмитрий Павлович Каллистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы «собачки», нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Каллистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам – это ему делали в Физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда Д. П. приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил, он нес собачку из Физиологического института. Шел быстро: собачье мясо, говорили, очень богато белками.

Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. Диетстоловая помещалась за Введенской, кажется – на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой была темнота; окна были «зафанерены». На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватили со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики.

Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других – страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько мучил голод, как холод – холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой – в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп – одна вода. Считалось все же

выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отovarить» их иным способом было почти невозможно.

Уходя из этой столовой, я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецколонна, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец, школу решили распустить. И вот кто мог – уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецколонной был «Гастроном». Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти «довесочки» тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами (в магазинах было особенно темно: перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны).

Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги – наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирали. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству – О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.

Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, – редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, – отрежешь у трупа...

Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества (угол Зелениной и Гейслеровского) обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонился, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей.

Так съели одну из служащих Издательства АН СССР – Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной – небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки общение между людьми сохранилось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».

Улицы были завалены снегом, только посередине оставались тропки. Все было раздражительно до невероятности. Помню, раз я шел по середине Лахтинской улицы, впереди меня характерная блокадная фигура: поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат

брюки. Идет эта фигура (мужчина или женщина – не разберешь) медленно, волоча ноги (поднять их кверху трудно, а волочить еще можно). Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном «романовском» полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно, с палкой, которую мне добыл С. Д. Балухатый из коллекции А. С. Орлова (Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал «нуждающимся» его палки). Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит (крик больше похож на сиплое шипение): «Да проходите же, наконец!». Фигуру раздражало, что я ее не обгоняю, а как ее обгонишь, когда тропка узка и кругом сугробы.

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать, а потом посадили Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена – дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке). Умер В. В. Гиппиус. Умер Н. П. Андреев, З. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г. Успенская (дочь писателя) – все это были сотрудники Пушкинского Дома. Всех и не перечислишь.

Помню смерть Я. И. Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского Дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать – раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседел, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил: «Который час?». Ему ответили. Он переспросил (голос у дистрофиков становился глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались): «День или ночь?». Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были «зафанерены», и ему не было видно: светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского Дома. Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском Доме: чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском Доме.

Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!». Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше, не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу.

Фольклорист Н. П. Андреев умирал так. Сперва он дежурил в Институте и за себя, и за М. К. Азадовского. Азадовский очень плохо себя чувствовал и просил его за себя дежурить. Н. П. Андреев пришел на помощь товарищу (тем более, что у М. К. Азадовского только что родился сын – прямо в бомбоубежище) и стал дежурить. Двойные дежурства очень истощили Н. П. Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать сестрой (это тоже был один из способов выжить) и отцу не помогала. Однажды Н. П. Андреев пришел в Пушкинский Дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его: он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Б. М. Кустодиев. Проводить его пошла А. М. Астахова. Они шли бесконечно долго, по пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Н. П. Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные скрывать от себя и от своей семьи куски сахара – куски жизни.

Удивительное действие оказывала еда: стоило съесть маленький кусочек сахара, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо!

Через несколько дней я пошел к Н. П. Андрееву отнести ему билет на самолет. В институте кто-то не полетел (из лиц, удостоенных благоволением начальства), и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, по середине мостовой по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся (сильно истощенные подняться не могли – они могли только идти). Я дошел до него и даже достучался (это было трудно), но отлететь он уже не смог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Старо-Невского (его молодая жена жила отдельно от него) и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег...

Как-то мистически, страшно умер литературовед Б. М. Энгельгардт. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я уже ее забыл (память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний).

Трупы на улице лежали против Института литературы – ближе к Биржевому мосту (месяца два лежал там труп женщины), в сгоревшем здании Мытнинского общежития университета (помню, на первом этаже лежали трупы двух детей), на Кронверкском – против Народного дома, где весной был устроен морг и туда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.

В Институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение, и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки! Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше – Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж и умирили дети (двое).

Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованием и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти! Каждое такое «путешествие» отнимало очень много сил, приближало смерть.

Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам), она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воды из снега с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды.

Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне на антресолях). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже вырос лед. Люди плашмя ползли в ледяную гору и опускали ведра как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.

В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально называли ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь.

Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу – подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.

По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких своих вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а онегинские – из онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III – ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского Дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века – голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником – Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзным вождем), выступал на собраниях, призывал, произносил «зажигательные» речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро.

А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Ехалов явился в Казань; ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.

После отъезда Канайлова Институтом стал весть М. М. Калаушин. Увольнение прекратилось. Напротив, было принято несколько человек – в том числе и наша Тамара Михайлова. М. М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. М. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 г. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным В. А. Мануйлова.

Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.

Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход «Вячеслав Молотов» – все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» – под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были приятными соседями, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецкие бомбардировщики.

Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены всей лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и пр. – все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой и пр. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось... Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собою все, что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?..

Дистрофия развивала kleptomанию и у сотрудников Института. Канцелярская служащая (Валентина... отчество и фамилию я забыл) сняла в Институте даже стенные часы, суконную

скатерть со стола заседаний и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше я ее в Институте не видел. Это была канайловская знакомая.

Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями. Их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они стогали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском (дом этот и сейчас стоит – против окон Ахматовой). В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная – фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался снизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон: лучше разбиться насмерть, чем сгореть.

На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирали. Обессиленные дети не могли встать с постелей; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.

Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страх перед трупами не было, родных не оплакивали – слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на дорогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах, под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?

На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица (среди них не было сильно истощенных) могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых – здоровых. Говорили – из Вологодской области.

В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды, во всяком случае для нас. Юра с Ниночкой (своей второй женой) уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением; все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, и когда ел суп (вернее то, что мы называли супом), то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение (я не понимал, что виновато сердце и эта копченая колбаса, которую он так ждал)...

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской. Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целы стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в шесть вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919-м и 1920 г. – тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Утром растапливали буржуйку. Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной Думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела.

Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз...», учили стихи Ахматовой: «Мне от бабушки татарки...» и др. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Садилась дети за стол за час, за полтора – как только мама начинала готовить. Я толлок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смиренно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась докрасна. Как было хорошо!

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали – мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны по середине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак такой удобный... Весной, когда потеплело, на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места) появились коричневые пятна.

От топки бумагой засорилась печка. Об этом Зина уже писала. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил каналы дымохода, и снова можно было топить.

...Голод несовместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь – это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса.

Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне, «от души» мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию.

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель – в его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет; смерть там победила жизнь; хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба – покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы; на ризах – изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова-на-Нерли – первого Покровского храма).

Надо, чтобы эта картина не пропала. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было...

Умер В. Л. Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы.

О смерти В. Л. Комаровича рассказывала мне Т. Н. Крюкова (его ученица по Нижегородскому университету) и И. Н. Томашевская. Вот как это было. В. Л. уже лежал, а Театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура (дочка Василия Леонидовича, которая училась в этом Театральном институте) и Евгения Константиновна (жена Василия Леонидовича). Отца они решили бросить: он бы не смог доехать. Его хотели оставить в вот-вот открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинают открываться «стационары», где их «в отрыве от семьи» (всех не накормишь!) немножко подкармливали.

В Доме писателя готовили уже помещение для умиравших писателей. Диетической сестрой там должна была быть И. Н. Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сидению финских санок и повезли через Неву на улицу Воинова. В стационаре они встретили И. Н. Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу – в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним – брошенным на смерть. Что пережили они и что пережил он! Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня!».

Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она отрывала хлеб от своего мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича, а когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь, но у него была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия – эта та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть: его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему уже было что есть. Таня к нему заходила: он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он работал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Заразском) я напечатал потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (в V томе в 1947 г.). Эта глава вполне «нормальная», никто не поверил бы, что она написана умирающим, у которого едва хватило сил держать в пальцах карандаш, умирающим от голода! Но он чувствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он считал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского Дома. Я передал их туда после того, как их передала мне Т. Н. Крюкова, и я извлек из них главу о Николе Заразском. Т. Н. Крюкова приносила ему два раза мясо – мясо, которого так не хватало и ей самой, и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в который умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала.

Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они обе были в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?». Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я был уверен, что их нет в живых.

Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умирающую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших – искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали

пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших – мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые – оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль – у других.

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер – одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 г.). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»...

Виктор Карамзин в статье «Кто сочтет... (Ленинград. Блокада. Дети)» («Наш современник». 1986. № 8. С. 170) утверждает: «Умерло в блокаду 632 253 ленинградца». Какая чушь! Сосчитать до одного человека! На основании каких документов и кто считал?

Вот уж воистину «Кто сочтет...» – кто сочтет провалившихся под лед, подобранных на улицах и сразу отвезенных в морги и траншеи кладбищ? Кто сочтет сбежавших в Ленинград жителей пригородов, деревень Ленинградской области? А сколько было искавших спасения из Псковской, Новгородской областей? А всех прочих – бежавших часто без документов и погибавших без карточек в неотопливаемых помещениях, которые им были выделены, – в школах, высших учебных заведениях, техникумах, кинотеатрах?

Зачем преуменьшать, и явно – в таких гигантских размерах – в три, четыре раза. Г. Жуков в первом издании своих «Воспоминаний» указывал около миллиона умерших от голода, а в последующих изданиях эту цифру исключили под влиянием бешеных требований бывшего начальника снабжения Ленинграда.

А в августе 1942 г. во время совещания в Горисполкоме, по словам профессора Н. Н. Петрова, присутствовавшего на нем, было сказано, что только по документам (принятым при регистрации) к августу 1942 погибло около 1 миллиона 200 тысяч... Об этом у меня есть записи на книге этого мерзавца-снабженца.

...В феврале и в марте 1942 года смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали. А он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто невысказано было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» – это ленинградское слово тех лет, как и «дovesочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умерла от истощения мышь...

Папа в феврале уже лежал, опух и вставал только к еде. Его печурку топила Зина или я. В комнате его стало холодно – внизу не топили. От промерзших окон во время топки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах (несколько раз он проводил свой отпуск на Волге) и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика-врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать (отец не любил лечиться, не любил врачей). Старик-врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и

этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было: их некому было готовить, но аптеки (некоторые) все же были открыты, и в них была душистая туалетная вода (одеколон весь выпили). Мы ходили в аптеку на Гейслеровском против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терпелив.

Умер он первого марта утром, около восьми часов. Он лежал на диване в маминной комнате (в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца), и ему было совсем плохо, когда я к нему пришел рано утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик – горел от звонковых батарей. Отец время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не мог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банку он не хотел. Он только повторял: «Царица небесная!». Дети в соседней комнате не понимали, что дедушка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями XVIII века – единственной памятью от его матери (Прасковии Алексеевны – она умерла, когда отцу было пять лет). Из груди трупа вырвался вздох: это выходил воздух из легких.

Страшное продолжалось и потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными», хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весной не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась...

Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь в саду Народного дома на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли высыпали в простыню – одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Так в общей могиле он лежит, в какой – не знаем.

Свидетельство о смерти отца от 2 марта. «Хоронили» мы его числа третьего-четвертого марта.

Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что, пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов в голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине,

поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались на ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами!..

Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец, даже тогда, когда ссорился с ним, был на него сердит, я всегда чувствовал в нем человека более сильного. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец ничего уже давно не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь семьи в еще большей мере, чем раньше: Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая, пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи.

Еще за два, за три года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его приятели, и вспоминал веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер – и никто не знал о его смерти, кроме нас да нескольких равнодушных измученных людей, отобравших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и рабочих, отказавшихся поднять его труп в машину.

Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, и мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сердце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его...

Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. В последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что в последние дни он не хотел и перестал есть. В буфете у него нашлась плитка шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег для последнего...

Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной комнате с дочерью и женой. Те остались живы, он был с ними в ссоре. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бранился. Могилы его нет, как нет и других могил.

В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношение из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель: подушки, одеяло, уходить было страшно: начались обстрелы, бомбежки, очень усилились пожары, не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на две недели, но всякое могло случиться. Вдруг эта разлука навсегда? В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при коптилках. Что было налито в тарелках, мы не видели. Смутно видели только тарелки и что-то в них налитое или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда: это оживало тело! И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды, шел, ел и снова начинал ждать еды.

Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые стекла. Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть за чем-то в Пушкинский Дом. Я видел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же, у тропинки, полузанесенная снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная...

Несколько человек в стационаре умирали: у них была необратимая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые

ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом «деле» поймали доктора наук – кажется, астронома или химика.

Наконец короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам: наступала весна.

Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике (тетради у меня сохранились), но и писать. Дело в том, что М. А. Тиханову вызывали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. М. А. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный (это путешествие было для меня нелегким). От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой.

В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина (я забыл ее фамилию). Она была полной, здоровой. А у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей (!) хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились. И в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 г. Я писал в ней главы «Азов – город крепкий», «Псков» и еще что-то. Больше половины глав – мои. У М. А. Тихановой там написана глава о Троице-Сергиевой лавре, введение и заключение. Сдавали мы рукопись в Госполитиздат – Петерсону (впоследствии умер под арестом – по «Ленинградскому делу»). Писалось, помню, хорошо – дистрофия на работе мозга не сказывалась.

Весной стала выходить газета (не каждый день) «Ленинградская правда» – в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой (там был немецкий штаб), а в Волотове находился наш артиллерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллерия. Впоследствии, когда я в 1944 г. был в Новгороде, я заметил, что гибель Николы Липного была такой же – там находились наши войска. В книге «Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» – эта книга есть у нас дома (она потом была почему-то запрещена) у Николы Липного ясно видны окопы: это наши. Гибель ленинградских дворцов (в частности, Елагино, который сгорел на наших глазах от временок квартировавших там частей), Новгорода, Пскова подействовала на меня угнетающе.

...Дома стало заметно лучше. Мама (бабушка) и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть вымененных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи – «Что пирует царь великий в Петербурге городке» (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И войны были другие, и государственные деятели были другие.

Я встретил Колю Гурьева, он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Когда умерла его мать, братья, жена – не знаю...

По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире, перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат; для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки листьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно – эпидемий весной не было. Были только дистрофические поносы, потрепавшие почти всех (мы убереглись).

Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в Академической столовой (она была там же, где и сейчас – рядом с Институтом этнографии). Два раза надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же на набережной, в столовой, чтобы не

тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того, как ее съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо.

К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, так как трамваи ходили очень редко, но хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец, я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволочил. Сразу наступила страшная слабость, и я долго (несколько недель) с трудом мог передвигать ноги: колени дрожали.

В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!». С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.

Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования: блокадный Ленинград переключался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Старо-Невский, туда, где когда-то помещался Сиротский дом. Когда угрозы не помогли (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не согласны?». Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.

Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне: двойным кольцом – внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал Аркаша, находившийся на «Ораниенбаумском пятачке».

Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек – книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли, и встретил следователя; он вызвал меня на Старо-Невский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Старо-Невского долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.

Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали по дешевке люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плохонькие картины, половую лампу со столешницей из оникса, книги, открытки с видами городов – все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг (полное собрание русских летописей – отдельные тома и еще некоторые) я отвез в Пушкинский Дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив – «дядю Ваню». Он за буханку хлеба отвез книги на тележке.

Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купила их за 600 рублей какая-то незнакомая партийная дама и оставила нам задаток, а потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресло выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новый покупатель, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресла, вернув деньги, так как тогда (в 1944–1945 гг.) вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но... зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел (в них очень любил сидеть мой отец).

Картину «Зима» я видел затем в 1944 г. в комиссионном магазине на Садовой около Публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись: «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и замдиректора в Институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину назад через суд, но и в этом случае я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства, я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санный путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью – это кабак, у кабака несколько саней со впряженными лошадьми: ожидают мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое...

Связь с «Большой землей» постепенно возобновилась, возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши – живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину для того, чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело! Мише сообщили о смерти дедушки. В главном зале Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Каллистовым: он тоже собирался ехать. Мы записались все, записали и Тамару Сергеевну Михайлову (няню). Она тогда уже работала в Институте литературы (ее взял М. М. Калаушин препараторм). Вещей можно было брать ограниченное количество (забыл, сколько килограммов) и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова Грива, а оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше.

Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией, я ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте Любочку, жену моего двоюродного брата Шуры (Александра Петровича) Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук – специалистом по какой-то редкой морской специальности (по образованию он был инженер-электрик). Блокаду они кое-как прожили (Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив), а весной он стал ходить обедать в Дом ученых, и там в столовой «разговорился»: говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызывали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили «служить». Кажется, он смалодушествовал, согласился, а затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следовательно, запугавший его, очень испугался сам, так как Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный, приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и пр. Вот как ценилась жизнь защитников города.

Перед отъездом, в мае и в июне, очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол – очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галошах ходить было совершенно невозможно: резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что разрыв был слышен, значит, в нас уже не попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице, второго разрыва не было, но этот единственный тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик на углу улицы Ленина. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошиб весь дом сверху вниз и взорвался в булочной. Погибло несколько десятков людей. Все было залито кровью.

Когда мы ходили по улице, то обычно выбирали ту сторону, которая была со стороны обстрела – западную, но во время обстрела не прятались. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на счете 11 – разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и, сосчитав до 11, молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующего столовой Сергейчука снесло голову: она ехала в трамвае. В трамваях ездить было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград (приехал из Казани в командировку в 1944 г.), я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против Биржи труда еще в 1945 г. стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы под него, рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго.

Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы А. П. Остроумовой-Лебедевой.

...Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина сшила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им их куклы (самые любимые), а остальные куклы отдать в детский сад (открылся внизу нашего дома). Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы! Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться.

Приходил Вася Макаров (брат Зины), принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 г. во время Финской кампании (говорят, их поджег финский самолет). Склады были продовольственные, и вот народ весной 1942 г. стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей: это была черная лоснящаяся земля, пахнувшая землей и замазывающая до боли горло. После него болел живот (единственный раз, когда у меня во время войны болел живот). Вася купил у нас кабинет (остатки – без мягких кресел) и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг.

Броню на квартиру я сдал в домуправление, но печати на квартиру наложить не удалось: не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал – принимали багаж на Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал, погода была хорошая. Это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся, казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть, потому мы даже и не опечатали квартиру, не очень об этом заботились. Вася нас провожал. Дети шли в сереньких пальтишках (они сняты в них в Ботаническом саду осенью 1941 г.) с заплечными мешками. Тамара купила перед тем швейную машину у бабушки Обновленской, несла ее завернутой в одеяло, но без крышки (твердая тара запрещена!). Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город.

На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно кормили: дали пшенной каши с большим куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. Мы поели на воздухе, затем нас стали сажать в дачные вагоны. Тесно было страшно. Вместе с нами очутился и Стратановский. Он потерял жену (она умерла сравнительно рано, зимой) и был один. С растерянным видом он упрашивал нас пустить его к нам в вагон. Поезд шел убийственно медленно, долго стоял на станциях, часть людей сидела, часть стояла спрессованная, тамбуры были все забиты.

Ночью, в белую ночь, мы приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку: она была жирная и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых, мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Мы разговаривали с гебраистом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Каллистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил: «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе.

В Борисову Гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз, после проверки паспорта, но что можно было захватить за один раз нашими ослабевшими руками?

Мы с Дмитрием Павловичем, Зина и Тамара едва уговорили стражников, проверявших наши документы, пропустить нас еще раз и ходили раза по три, таскали наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись на пароход с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули, рискуя упасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга! Как волновалась Зина – я передать не могу.

День был ясный, и мы бы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились, но, слава Богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной

безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики: немцы не бомбили.

Нам отвели избу, в которой мы должны были ночевать. Но не спали мы и вторую ночь, в избе жили крестьяне, один из мальчишек хозяев страшно кашлял, захлебывался. По-видимому, у него был коклюш. Бабушка не велела ему подходить, он обиделся, указывал пальцем на бабушку и говорил: «Она говорит, что у меня «кашлюш!».

Нам дали хлеба на несколько дней, мы снова ели из наших алюминиевых плошек и опять много, хотя чувство голода не проходило ни на минуту.

Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали очень долго, так как тюков у всех было много, но ничего не пропало.

Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами. Досок для нар не хватало и надо было их достать. Доски мы с Дмитрием Павловичем и Стратановским достали, но все же их не хватало; в нарах были большие щели, спать в пути было очень неудобно. Мы спали наверху, внизу Тамара и Стратановский. С другой стороны теплушки наверху спали Каллистовы. Тюки наши сложены под нары и посреди теплушки.

Эшелон тронулся. Первая большая остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 г. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против Гостиного двора на площади была немцами не тронута.

По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.

В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это – другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.

Были ли ленинградцы героями? Не только ими: они были мучениками...

Воспоминания о блокаде *(по материалам общественного движения «Бессмертный Ленинград»)*

Житнухина Лидия Андреевна

22 июня я была в парке. Мы радио еще не слушали. Нашли меня в парке товарищи по работе, говорят: «Надо выйти. Это приказ. Война началась». Пошла на работу, сказали: «Переводишься на казарменное положение». Мы ведь комсомольцы, должны во всем быть первыми помощниками. Тем более из милиции большинство мужчин призвали на фронт. Надо подменять.

Очень много девушек тогда работало – на постах стояли. И у меня свой пост. Скидывают, допустим, немецкие листовки, мы их должны срочно собрать и унести для уничтожения. На психику фашисты давили, помню одну: «Питерские дамочки, копайте себе ямочки», – и подобная гадость.

Один раз за все время я на свой пост опоздала. Из-за бомбежки. У Финляндского вокзала она застала. И вот я грязная, рваная, едва спасаясь, бегу и боюсь опоздать. Через Неву – напрямик. А там люди, кто замерзший, кто пытается выбраться по скользкой наледи на берег и сил не хватает. Прибежала на пост, мне говорят: «Сейчас получишь. Ты же не только себя подводишь. Твоя работа городу нужна». С тех пор я старалась больше не опаздывать, бежала к посту, несмотря ни на какие воздушные тревоги.

...Мы шли по улице, когда началась бомбежка. Я и моя подруга спрятались в бомбоубежище. Просидев там несколько минут, подруга выглянула наружу и увидела нескольких раненых, которые пытались идти в сторону укрытия, прижавшись к стене. Она мне сказала: «Там раненые! Надо им помочь!» и начала выбираться наружу.

Я попыталась ее остановить:

– Давай подождем, пока бомбежка закончится, а то мы и им не поможем, и себе навредим!

– Но мы же комсомолки! Мы должны помочь!

И она побежала через улицу к раненым, я побежала за ней. Вдруг мы услышали свист, и обломки ближайшего забора полетели в нас. Мы упали. Через какое-то время я пришла в себя, поднялась, и начала поднимать подругу. Но она была неподвижна. Меня охватил страх... Я,

сломя голову, побежала в ближайшую поликлинику. Забегаю и сразу начинаю кричать: «Девушку ранило! Нужна помощь! Носилки! Носилки! Санитаров!».

Но вдруг я поняла, что вокруг слишком тихо, я даже не слышала своего голоса... Главный врач понял, что меня контузило, и написал на бумажке, что не стоит торопиться: две минуты ничего не решат – либо она умерла, либо ее ранило, и мы ей поможем, когда бомбежка прекратится. Дальше я смутно помню, как нас погрузили в грузовик. Только меня отвезли в медчасть, а ее – на ближайшее кладбище.

...Трудно было. Но всем трудно, поэтому и терпели. Вместе легче беда переживается. Совсем прижало, когда немцы продовольственные склады разбомбили. Бадаевские, например.

Жуть как горело. Они ведь несколько километров делятся. И на протяжении всех этих километров – пламя. Жуть, какое зарево. Никакими силами потушить невозможно. Под американскими горками – слышали? – где зоопарк, там тоже склады были, тоже в первые дни разбомбили. Это сразу такой план, видимо, был: город измором взять.

Ничего, нашли свои уловки. На тех же Бадаевских... Там сахарный песок с землей помешался, вся эта пыль после взрывов. Помесь эта ведь сладкая все же, с остатками сахара. Песок вот этот его даже на рынке продавали, потому что когда есть нечего, его отмочат в воде, процедят и к чаю – вода-то сладкая.

Вы, наверно, знаете, каким хлебом приходилось людей кормить. Чего там только не было, кроме муки. И собирали даже прилипшую к половицам муку на хлебзаводах, которая там годами, веками, к полу приставала, в корку превращалась. Из этого хлеб пекли. Ну не было ничего. И дома тоже всякую галантерею пытались в пищу обратить. То есть и косметику кушали, и губную помаду, и присыпки детские. Жили – ни в сказке сказать, ни пером описать, но выжили! Выжили!

А Луга как защищалась! У меня сестра там жила – Рая. Ее немцы угнали с двумя детьми. Их поселил хозяин-немец в коровнике. В половине сарая скот живет, в половине – Раиса с ребятами. Она с детьми этот скот мыла, доила, ухаживала. И спали, как телята, на соломе. И нюхали все, чем там пахло. А зимой! Метели! Сарай-то продувной, хлипкий.

Она рассказывала, как один раз ночью кто-то в дверь постучался. Боязно открывать, но открыла. Открыла, а на улице свистит, дождь хлещет, и стоит на входе женщина с маленьким ребенком. Причем ребенку женщина рот прикрывает, чтобы тот не кричал. Раиса их к себе, в сараюшку, снимает с гостыи все мокрое. Та пытается объяснить не на русском: «Я Ревекка, Ревекка». «Я Рая», – показывает на себя сестра и продолжает в сухое переодевать женщину и мальчика. Ребенка успокоила, чтоб не кричал. Гостыя, как могла, объяснила, что за ними гонятся, их ищут. Может, из концлагеря сбежали. Сестра предложила ее спрятать, дальше у себя оставить. Та – нет. Дальше убежать надо. Успели только несколькими словами перекинуться. Сестра сказала, что в Луге живет. Ревекка что-то про себя.

А потом, когда сестра вернулась домой, все эти тяготы на ней сказались. Сырость ведь в сарае, холод. Ревматизм у нее начался страшный. Руки даже расческу к волосам поднять не могли. Одолели болезни, скончалась раньше времени.

А потом вот такой отголосок этого случая. Поехала я на экскурсию по Лужским рубежам. Ко мне подошла женщина – смотрю, вроде знакомая. Оказывается, это соседка Раисы, там в Луге, рядом с ней все время. Она подходит, заводит разговор: «А ты знаешь, кто к Рае приезжал?». А кто к мертвой приехать может? Куда? Зачем? – не понимаю. А соседка говорит: «Из-за границы приезжали Раечку искать, пожилая женщина и сын ее».

Это оказалась та самая Ревекка. А мальчик, которого тогда сестра успокаивала, во взрослого представительного мужчину вырос. Они говорят, что всю жизнь свою спасительницу вспоминали: «Рая, Луга, Ленинград где-то рядом». С трудом отыскали, а ее уже и в живых нет. Потом спрашивали, есть ли у ней родственники. Соседка сказала, что сестра Лидия в Ленинграде. Даже фамилии точной сказать не могла. Как найти Лидию в Ленинграде? Раскланялись, напоследок только то и сказали, что они на Раю чуть ли не молятся, каждый день добрым словом – «Она нам жизнь спасла, как иначе». Вот ведь какие люди благодарные!

Корнитенко Галина Георгиевна

Мало кто может с точностью до минут сказать, когда кончилось его детство. Я могу. Это случилось в 12 часов 40 минут 28 июля 1941 года, когда мне было 14 лет от роду. Я окончила 6-й класс 22-й средней школы (ныне школа № 86) Петроградского района.

Начавшаяся война ожидалась молниеносной. Нас, школьников, в конце июня вывезли под Боровичи в сельскую местность, чтобы мы там переждали трудные для города дни. Вскоре стало очевидным, что расчет на быстрое окончание войны оказался опрометчивым. Родители, обеспокоенные судьбой своих детей, стали приезжать и вывозить их в Ленинград. Движение на железной дороге в те дни здорово отличалось от мирных дней как по причине бомбардировок, так и по загрузке военными грузами, транспортируемыми и с запада на восток, и с востока на запад. С огромным трудом родители добились права на транспортировку нас в товарном составе. Как видно, весь состав предназначался только для пассажиров.

Поезд продвигался вперед очень медленно и с многочисленными остановками, день был жарким. Двери товарного вагона были приоткрыты, и мы делились впечатлениями об увиденном и пережитом за несколько недель войны. И вдруг сильнейший толчок. Кто покатился с нар, кто прикусил язык – оказалось, немецкие летчики бомбили наш состав. Один заход, второй, крики, стоны. Из оставшихся вагонов, как горох, посыпались дети, женщины. А немцам мало – спустились и на брющем полете стали расстреливать мирных жителей.

К счастью, среди пассажиров нашего поезда оказался военный человек, который взял на себя организацию обезумевших от страха детей и женщин в управляемую колонну. Но прежде всего он отдал приказание тем, кто был в состоянии, покинуть немедленно вагоны и рассредоточиться в лесу рядом с железной дорогой и притаиться до его возвращения. Сам он добрался до ближайшей станции, связался с какими-то организациями, получил указания и повел нас через лес по проселочным дорогам к станции Торбино.

Все наши вещи остались в вагонах, кто-то сказал, что оставшиеся вещи потом привезут в город. Мы, в легких одеждах, как были в жаркий полдень, без еды, к вечеру того же дня добрались до указанной станции. Там нас покормили и через несколько часов посадили в какой-то поезд, идущий в сторону Ленинграда – ночью дороги были более безопасными.

Мы, оставшиеся в живых в первом боевом крещении, прибыли в Ленинград. А здесь уже начались трудности с продовольствием. Были введены талоны на хлеб и другие продукты.

Спустя несколько дней оставленные в вагонах вещи привезли в Ленинград, в школу на ул. Воскова (кажется, № 16, где теперь расположен музыкальный колледж). Удивлению родителей не было конца.

С этого дня и часа я стала взрослой. Необходимо было готовить город к обороне, нас учили, как гасить зажигательные бомбы, как копать траншеи для укрытия людей во время налетов немецкой авиации, как вести себя во время налетов в бомбоубежищах и многому-многому другому. Вскоре немцы окружили Ленинград, и нам, девчонкам и мальчишкам, очень скоро пришлось применять на практике все эти знания...

Щиголев Николай

На Васильевском уже в августе 41-го целую массу местных ребят собрали, соединили с остальными такими же мелкими со всего города, и даже почти без родителей, всего три-четыре матери, повезли... «в эвакуацию». Да куда? На Валдай, на Селигер, в Осташков – прямо навстречу врагу! Инициаторы этого неизвестны до сих пор...

Как и где удалось развернуться и прорываться под обстрелом и бомбежкой обратно, домой, нашему такому длинному эшелону из товарных теплушек, тоже практически неизвестно. Мы выбрасывались на насыпь, переждали и потом возвращались на платформы и в вагоны. Хвост нашего поезда немцы при этом отбомбили. Так, с потерями, мы возвратились в Ленинград, вот теперь уже в блокаду. Картины ее в памяти до сих пор.

Радио, метроном, «воздушная тревога...», «отбой воздушной тревоги», ставший привычным голос Ольги Берггольц. А затемнение?! Ведь тоже привыкли. Решил, например, кто-то проблему – ликвидировать искры на проводах трамвая (когда он еще ходил...).

Первая, сколько теперь знаю, причем длинная, пятичасовая тревога – в ноябре 41-го. В подвале нашего четырехэтажного дома (и квартира наша на 4-м), как, впрочем, и у многих – бомбоубежище. Вначале еще ходили, спускались, а потом... Ко всему, видимо, привыкают люди.

Старший брат (10 лет) возил на саночках воду из проруби с Невы. Отдельная тема – барахолка. У нас она была рядом, на Андреевском рынке (который уже, конечно, не работает). Тут еще можно было вещи из дома – самые ценные, старые – сменять на хлеб (а если за деньги, то 600 руб./кг) или какие-нибудь продукты. А хлеб скоро, кажется, тоже в ноябре, последний раз урежут до 125 грамм – всем почти, около 2/3 населения, только рабочим – 250 грамм. И самое, конечно, страшное – это потерять карточки.

А у нас, в большой 7-комнатной квартире – одна «буржуйка», воткнутая в старинную кафельную печь в самой маленькой комнате. Мебель, тоже старинная, постепенно уходит в эту самую буржуйку. И все же на Новый год в нетопленной нашей бывшей гостиной мама устроила елку – картонную, зеленую, даже с подарками нам с братом под ней; так мы встретили новый, 1942 год... Конечно, все это забыть очень трудно даже теперь, через семьдесят лет.

Мне повезло «устроиться» – ходил в детский садик рядом с домом, на 7-й линии Васильевского острова, напротив Андреевского собора (он цел, этот детсад, до сих пор). Там кормили, даже были музыкальные занятия. И вот однажды случилось: собрались на прогулку, одеты, как надо в феврале, по-зимнему, но – тревога! Воспитательница решила, и вполне резонно, поддержать нашу группу, человек 20–25, не в зале на «лице здания», выходящем на 7-ю линию, а в маленькой комнате, которая выходит окнами на небольшой переулок и смотрит на высокую, мощную стену аптеки Пеля (тоже сегодня работает).

И вот надо было именно туда, в эту узкую «щель» и именно против этих окон, попасть бомбе – правда, так называемой «бомбе замедленного действия» (иначе я бы сейчас это не писал). Было у немцев такое изуверское устройство: когда после тревоги все спокойно соберутся на людном месте, она взорвется. Так вот, даже просто удара такой бомбы хватило, чтобы дом тряхнуло (кухню, где нам готовили обед) аж с той стороны. На нас же вылетели рамы и засыпали осколками стекла (два шрама, увы, у меня на лице до сих пор). Нас увезли в поликлинику на 5-й линии, которая исправно работала...

Или вижу на Неве, у 8-й линии, рядом с нашим домом, корабль, который «убит», но на боку все же остался, не тонет... Или помню, что вот сегодня выдача хлеба, что бывает не каждый день. А на стенах домов большими плакатами расклеено послание акына Джамбула: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!»...

Свечникова Валентина Алексеевна

Мы жили с семьей на 6-й линии Васильевского острова. Жили небогато, в коммунальной квартире. Мирное время закончилось как-то внезапно. Война свалилась как снег на голову. В городе поднялся настоящий переполох. И власти решили срочно переправлять школьников в эвакуацию, прежде всего на Валдай.

Везли нас в эшелонах, где нашлось место и для меня с младшим братиком Толей. Когда поезд подошел к конечной станции, на платформе уже стояли местные жители, которые «подбирали» приглянувшихся им детей и временно пристраивали их у себя. К нам подошла пожилая супружеская пара – очень добрая и приветливая. К сожалению, их имен я не запомнила. Поселились мы в просторном деревянном доме с большой русской печкой и провели там около месяца.

А потом наш папа, Алексей Михайлович, приехал за нами. Приехал не случайно: по Ленинграду поползли слухи, что немцы скоро займут Валдай. Многие родители поспешили забрать детей обратно в город. При возвращении случилась первая в моей жизни бомбежка. Железная дорога шла по открытому полю, и спрятаться было негде. К счастью, ни одна бомба в поезд не попала. Но было очень страшно. Лишь позднее, в разгар блокады, мы привыкли к обстрелам и бомбежкам.

Когда они начинались, мы бежали в бомбоубежище, но затем наступила какая-то апатия. Лежишь, бывает, дома, слышишь гул стервятника и прикидываешь про себя: «Так, это тяжелый бомбардировщик. Сбросил свой груз где-то возле Балтийского вокзала. Теперь летит на Васильевский остров. Ай, ничего, пронесет!».

Однажды громыхнуло совсем рядом – дом закачался, и посыпались стекла. Тут я выбежала на улицу. И увидела жуткую картину. Ехал какой-то извозчик. Спасаясь от бомб, он бросил свою повозку и спрятался в соседнем доме. А бомба, как назло, угодила прямо в телегу. Лошадь

разорвало на части. Собралась толпа, а место происшествия тотчас оцепила милиция: боялись, что голодные люди растащат по квартирам куски еще теплого мяса.

Голод был настоящим исчадием ада. Есть хотелось постоянно. А осенью страшного сорок первого стряслась добавочная беда: у меня из кармана вытащили продовольственные карточки. Все, конец! От смерти спасла знакомая, тетя Клава, отдавшая нам одну свою карточку. Как это вышло? Да трагично и просто: в ее семье были четыре человека, но неожиданно умер муж. И хотя росла дочка, трехлетняя Наденька, тетя Клава пожертвовала лишним пайком ради нас, своих друзей.

А моя мама, Александра Александровна, в ту пору работала на кожевенном заводе. В ее цехе оставались от заготовок кусочки кожи. Она приносила их домой, опаливала на огне, а затем делала студень. Жуткий, конечно, но что поделать? Однажды мама в знак благодарности отнесла часть «лакомства» тете Клаве. И вышел конфуз! Тетя Клава положила «студень» в тарелку и поставила ее на шкаф, рассчитывая на вечернее «угощение». Не тут-то было! Маленькая Надюшка определила по запаху место, где находился блокадный деликатес, подставила стул, залезла на шкаф и подчистую вылизала тарелку до дна...

Выручали и другие «мелочи жизни»... Как-то раз к нам пришла врач. И с порога воскликнула: «Ой, как рыбой пахнет! Где достали?». А то – не рыба, а рыбий жир в довоенной склянке. Мы добавляли его по каплям в кастрюлю с водой, и возникало ощущение полноценного супа. За хлебом же доводилось ходить мне. Выходила я из дома еще в потемках и часами простаивала у дверей булочной. Приносила буханку домой, и мы делили ее на три доли – на маму, братика Толю и меня (отца с нами не было, он воевал на фронте). После такой «дележки» хлеб вновь резали на маленькие кусочки, а затем сушили на буржуйке. Хлеб был сыроватым, клеклым, но когда подсыхал, мы брали его в рот, и он потихоньку таял, создавая обманчивое ощущение сытости. Словом, утешали себя, так сказать, психологически.

В марте 1943-го, уже после прорыва блокады, случилась беда: умер братик Толя. Перед смертью, ночью, все время просил пить. Мы завернули его в какое-то покрывало и повезли на санках в дом по соседству – на 8-ю линию, к «машине по приемке». А люди из похоронной команды, увидев нас, вздохнули: «Что вы плачете? Радоваться должны – этих всех мы сразу на место повезем». То есть не на перевалочный пункт, а прямо на кладбище! Только нам не сказали, куда: самим еще было не известно. Лишь недавно я узнала из архивных бумаг, что Толю похоронили на Пискаревском кладбище.

Понятно, что с началом блокады прекратились всякие занятия в школе. Нас, 12-летних, призвали на помощь защитникам города. Мы работали в госпитале, ухаживали за ранеными. Для самых тяжелых, которые не могли держать перо, писали письма домой. Возвращались к себе зачастую в сумерки. И нам выдали специальные светящиеся значки. Двигаешься по темной улице и видишь – впереди маячит какая-то звездочка. Значит, ты не один или не одна: идет человек!

А летом нас везли на сельхозработы – в основном на прополку и на сев. Помню, как мы, девчонки, жутко боялись крыс в заброшенном сельском клубе. Больше, чем бомб, правда-правда. Бомбежек мы уже научились не бояться, а вот крысы... Мы даже кровати на ночь сдвигали, чтобы давать грызунам дружный отпор.

Кроме того, по-прежнему мучил голод. А рядом с клубом был чей-то огороженный участок с чистенькими грядками. На них красовались зрелые огурцы. Ну, и залезли мы туда «всем миром» полакомиться. Однако не успели. Внезапно – как черт из табакерки! – прибежал хозяин с вилами в руках. «Заколю!» Мы – врассыпную. Я бегу, а он увязался за мной, и чувствую: уже догоняет. Впереди канава, а на краю – густой кустарник. Я и забилась в него по самые корни. Мужик тыкал, тыкал вилами, да не попал. Так и ушел ни с чем. Да, разные были люди и вели они себя в блокаду по-разному. Я все помню и никого не осуждаю.

А немецких солдат увидела впервые после войны. Пленные чинили разрушенные дома. Смирные были, грустные, тосковали по фатерланду и душевно играли на гармошках. Впрочем, нам было не до них. Снова открылась школа. Но заниматься в ней нам, 16-летним, было некомфортно. В шестом классе, куда направили наш «поток», сидели малолетки, вернувшиеся из эвакуации и даже отдаленно не представлявшие, что такое блокада.

Поэтому большинство старших ребят пошли в училища. Я, например, в ремесленное, а общее образование получила уже в вечерней школе. После училища стала токарем 5-го разряда и

устроилась на завод имени Калинина (бывший Трубочный). Там, окончив дополнительные курсы, стала бухгалтером. И работала на том же предприятии. А высшее образование обрести так и не удалось. Война перечеркнула жизненные планы.

Первакова Антонина Павловна

Я, Первакова (Власова) Антонина Павловна, родилась в Ленинграде 3 февраля 1931 года.

Я хорошо запомнила налет самолетов на город в начале сентября – неба было не видно из-за большого количества самолетов. Во время налетов мы бегали в бомбоубежище школы № 283. Становилось все хуже с едой, на помойке собирать уже было нечего. Ходила в кинотеатры «Олимпия» и «Ударник», детей туда пускали бесплатно. Посещение кинотеатра отвлекало от мучительного чувства голода.

Кроме этого, пока были силы двигаться, нас заставляли ходить по квартирам и собирать чулки, которые надо было завязать узлом с одной стороны и набить песком, а затем уложить на каждую ступеньку лестничного пролета. Дружинники дежурили на крыше и гасили зажигательные бомбы песком.

Совсем стало плохо с едой. Бабушка варила маисовый кисель, но меня почему-то рвало от него, и мне давали дуранду (жмых) и какую-то баланду. После бомбежки и пожара на Бадаевских складах я несколько раз ходила туда и приносила землю с пожарища. Эту землю мы заливали водой, отстаивали и пили. Эта вода была сладкая, очень вкусная.

Голод одолевал все сильнее. Мама ходила и получала паек по карточкам (125 грамм хлеба), и мы его ели на ночь. «Чтобы утром проснуться», – так говорила мама.

22 февраля 1942 года умерла бабушка, а дедушка лежал в кровати и уже не мог ходить. Бабушку увезла соседка. Завернула в простынь и увезла в морг на ул. Красноармейской, 12 – это я услышала от соседки.

Я уже не ходила, болели ноги, на голове были болячки, одолевали вши. Мама тоже перестала ходить на работу.

13 апреля умерла мама. Ее соседка завернула в простыню и увезла, но куда, я не знаю. После бомбежки у нас были выбиты все стекла из окон, было очень холодно. Сколько я была одна – я не знаю. Я помню, что пришла какая-то женщина и взяла меня на руки, а я почувствовала тепло. Другие две женщины вынесли дедушку в простыне и соседскую девочку из соседней комнаты. Так началась моя новая жизнь, по-моему, это был май месяц. Позже из документов я узнала, что была направлена в распределитель № 87 на Курляндской улице.

Об этом периоде времени я многого не помню, видимо, истощение и болезни повлияли на память. В распределителе нас стали готовить к поездке на корабле. Предупредили, что будет качивать и «кидать» по кораблю, но это надо терпеть. Когда мы плыли на корабле по Ладожскому озеру, в моменты бомбежки моряки ставили нас к стенам корабля и удерживали, сцепив руки, чтобы никто не свалился за борт от волны и качки.

Эвакуировали нас по Ладоге в Пошехоно-Володарский район Ярославской области, в детский дом. В этом детском доме я прожила 2 года и окончила 4 и 5 класс школы. Нашла меня моя крестная и забрала к себе в деревню Черная Заводь Ярославской области. Живя у крестной, я окончила 6 и 7 класс школы. В 1946 году от крестной меня взяли к себе дядя Миша и дядя Павел (это родные братья моей мамы), у которых я жила по очереди. В 1947 году я поступила работать учетчицей на фабрику вычислительных машин и механизированного учета.

Штыб Эдуард Митрофанович

Родился в Ленинграде в 1938-м. Первый яркий кадр воспоминания о блокаде такой: это детский сад, вырытые щели в садике на среднем проспекте Васильевского острова. И вдруг объявили воздушную тревогу, может быть, даже первую воздушную тревогу в Ленинграде. Воспитатели велели взять матрасы, держать их над головой и двигаться к этим щелям. В этот момент приходит отец с работы и видит такую картинку, что все детские группы идут под матрасами в сад – прятаться от бомбежки.

Другое воспоминание: уже зимой мы ходили с бабушкой за водой на Неву, к Горному институту – там военные моряки поддерживали прорубь постоянно. И бабушка придумала: на палку от швабры прицепила банку консервную, чтобы было очень удобно черпать воду. И на санках мы набирали воду и возили в бомбоубежище. Оно было у нас рядом с домом, рядом с 17 линией Васильевского острова. Сначала часто бегали, как только объявляли воздушные тревоги,

потом привыкли. Бабушка, к сожалению, зимой умерла. Фактически выкормила меня своим хлебом, а сама умерла.

Типикина Галина Александровна

...Первые дни войны можно было поесть за большую цену. Правда, я не помню, за сколько, но можно было пойти в Асторию или Метрополь. Метрополь – ресторан на Садовой, недалеко от Публичной библиотеки, ну а Асторию вы все знаете. И мы с папой и мамой пару раз туда приходили. Они брали картофельное пюре – порцию второго – и биточки или котлеты. Мама всегда брала одну порцию папе, а вторую мы с ней съедали пополам. Это в начале войны. Потом – ходи, не ходи – голод везде был.

Во время блокады – не в первые дни, а немножко позднее – не отоваривали ни сахарный песок, ни крупу, ни масло, ничего. Когда-то там один раз, может быть, за всю зиму дали масло, по 50 или 60 грамм на талоны, по одной карточке. Конечно, такие карточки как иждивенческая (для тех, кто не работал), детская, это вообще, считайте, ничего.

Брать можно было только хлеб. И то за хлебом выстраивались очереди с самого раннего утра, а иногда и с ночи. Были и такие дни, когда и хлеба не было, потому что не было воды, не привозили вовремя муку.

Помню, как в январе мы с мамой пошли за хлебом вместе. Отстояли большую очередь на улице перед входом, потом нас пустили в булочную, и до того, чтобы нам получить хлеб, оставалось человек 10. И вдруг один мужчина в ватнике, худой, поворачивается, показывает на маму и говорит: «Ха! А эта, видать, скоро умрет, посмотрите, нос-то у нее совсем заострился!».

На него публика зашикала: «Ты что говоришь, как ты смеешь говорить такое при ребенке!». Он заткнулся, конечно. Заставили замолчать. Но мама-то слышала, и я слышала. В общем, пришли мы домой – мама легла. Больше она уже не вставала. Это было число 15–16, где-то в середине января. А умерла она 21 января 42-го года. И то, что он сказал, оказалось правдой.

А дедушка с бабушкой ночевали с 7 декабря у дедушкиной родной сестры, а мы с мамой и папой – у тети Кати. Папа умер 20 декабря, а дедушка – 23 декабря. Дедушка умер во сне, а папа... у него началась предсмертная агония. Одна медсестра (ее попросили прийти посмотреть) говорит: «Вот бы ему сейчас вколоть хорошую порцию глюкозы и привести в чувство, но где же ее возьмешь». В общем, он так промучился и около часа ночи, уже 21 декабря, умер.

Мама и бабушка трупы дедушки и папы не повезли, как многие возили, на ближайшее – Волковское – кладбище. Далеко от 7-й Красноармейской идти на Волковское. Трупы дедушки и папы привезли к нам на квартиру. Папу положили на стол, и у него так рука со стола свисала. Когда проходишь мимо стола, особенно когда темно становится, можно было наткнуться на руку. А дедушку положили на полу, сначала в гробу (рабочие принесли гроб), а когда топить было нечем, бабушка расколола гроб, и он просто лежал на полу. Чуть-чуть влево – натыкаешься на дедушку... труп дедушки... Чуть-чуть вправо, когда, допустим, я бегу открывать дверь, натыкаешься на папину руку. В общем, было неприятно очень.

Причем у нас все окна были закрыты: никакого просвета, никакой щелочки, чтобы даже если чиркнула спичка, никакого огня не было видно. То есть идешь совершенно в темноте, и можно наткнуться и на руку покойника, и на тело покойника.

Зинаида Павловна Овчаренко

22 июня 1941 года мне исполнилось 13. Гуляла в этот день с подругой по городу. У магазина увидели скопление людей. Там висел репродуктор. Женщины плакали. Мы поспешили домой. Дома узнали: началась война.

Семья у нас была – 7 человек: папа, мама, 3 брата, 16-летняя сестра и я, самая младшая. Сестра еще 16 июня отправилась на теплоходе по Волге, где война ее и застала. Братья добровольцами ушли на фронт, папа был переведен на казарменное положение в Лесном порту, где работал слесарем. Мы с мамой остались одни.

Жили мы за Нарвской заставой, тогда это была рабочая окраина. Кругом дачные поселки, деревни. Когда немец наступал, всю нашу улицу запрудили беженцы из пригородов. Шли, нагруженные домашним скарбом, несли и вели за руки своих детей.

Я помогала дежурить в сандружине, где командиром звена была моя мама. Однажды увидела, как в сторону Ленинграда от Средней Рогатки движется какая-то черная туча. Это были фашистские самолеты. По ним стали стрелять наши зенитки. Несколько подбили. Но другие

пролетели над центром города, и вскоре мы увидели невдалеке большие клубы дыма. Потом узнали, что это разбомбили продуктовые Бадаевские склады. Они горели несколько дней. Горел в том числе и сахар. Голодной зимой 1941/42 годов многие ленинградцы, у кого хватало сил, приходили туда, собирали эту землю, вываривали ее и пили «сладкий чай». И когда уже земля была не сладкая, ее все равно копали и тут же ели.

К зиме папа наш совсем ослаб, но все равно часть своего трудового пайка пересылал мне. Когда мы с мамой пришли его проведать, из двери барака кого-то выносили в столярную мастерскую. Это был наш папа. Отдали свой паек хлеба за 3 дня женщинам с папиной работы, чтобы они помогли маме отвезти его на Волковское кладбище – это другой конец города. Женщины эти, как только съели хлеб, так и бросили маму. Она повезла папу на кладбище одна. Шла с санками вслед за другими людьми. Выбилась из сил. Мимо везли сани, нагруженные телами умерших. Извозчик разрешил маме прицепить к ним сани с папиным гробом. Мама отстала. Придя на кладбище, увидела длинные рвы, куда складывали покойников, и как раз папу вытащили из гроба, а гроб разбили на дрова для костра.

Колесникова Елена Владимировна

В 1941 году мне исполнилось 9 лет. В конце мая закончился первый в моей жизни учебный год, но этим летом мама не повезла меня, как обычно, к бабушке на каникулы.

Первый день войны мы с мамой встретили на пляже у Петропавловской крепости. Когда по радио объявили о выступлении Молотова, пляж как-то замер. Люди слушали молча, быстро собирались и уходили. Всюду было слышно слово – ВОЙНА.

Отца призвали в армию, он был где-то на Ленинградском фронте. Дети вместе со взрослыми таскали на чердаки песок, наполняли водой железные бочки, раскладывали лопаты... Каждый чувствовал себя бойцом. Подвалы должны были стать бомбоубежищами.

Первая в моей жизни бомбежка осталась в памяти ярче других, потому что было страшно, как никогда потом за всю жизнь. Рев самолетов, грохот зениток, взрывы. И еще темнота.

Раз-два во время бомбежек мы с мамой спускались в подвал. Потом перестали. Мама сказала, что бессмысленно так тратить время.

Мама стала сушить очистки от картошки и всякие корочки. С лета она оставила бутылочку прокипяченного подсолнечного масла и не велела до него дотрагиваться.

В школе ребят стало гораздо меньше. Заниматься было почти невозможно: обстрелы, налеты, занимались при свечке. Когда в один из дней пришли только трое, учительница сказала, что больше собираться не будем.

Вскоре мама перестала ходить на работу, ее организация была эвакуирована. Она часто уходила надолго, иногда на весь день – на дежурство, в очередь за хлебом, за водой, за дровами, за какой-нибудь едой.

В декабре все корочки закончились. Еды нет, нет у всех, кто остался в Ленинграде. Уже после войны в разговоре с кем-то мама сказал: «Спасибо дочке, она никогда не просила у меня есть!».

Из блокадных лет запомнился один Новый год – это, наверное, первый Новый год без красивой елки с конфетами, орехами, мандаринами и блестящими огоньками. По радио выступала Ольга Берггольц. Я не знала тогда, что это наша ленинградская поэтесса, но голос ее, с характерной интонацией, как-то затронул и заставил внимательно слушать то, что она говорила. «Мне не надо говорить вам, какой он, этот год...» Дальше запомнились стихи. Кажется так: «Товарищ, нам выпали горькие трудные дни, грозят нам и горе, и беды. Но мы не забыты, мы не одни, и это уже победа!».

В маминых записках есть такой кусочек: «Несмотря на ужасы блокады, постоянные обстрелы и бомбежки, залы театра и кино не пустовали».

Не могу точно сказать, когда это было. Скрипачка Баринова давала сольный концерт в Большом зале филармонии. Мне посчастливилось туда попасть. Зал не отапливался, сидели в пальто. Было темно, только каким-то светом была подсвечена фигура артистки. Было видно, как она дышала на свои пальцы, чтобы хоть немножко их согреть.

У нашей школы были грядки в Летнем саду. Там мы пропалывали морковь, салат и свеклу. Когда весной на старых липах только прорезались зеленые листочки, мы ели их без конца, потом ели цветы липы, а потом семена.

В какой-то день весны 1943-го ожил двор Некрасовской бани. Чумазые люди в ватниках пытались оживить котельную. Наступил день, когда баня открылась. Мы отправились в баню, надеясь успеть помыться между обстрелами. В бане, ступая босыми ногами по цементному полу, мы держались за руки и почему-то смеялись. Мы вдруг увидели, какие мы страшные! Идут по пустой бане два скелета с мочалками в руках, дрожат от холода и смеются. Вода была теплая, но баня еще не прогрелась. В мыльной плескались еще четыре храбрые блокадницы, худые и костлявые. Смотреть друг на друга было неловко.

Когда меня спрашивают о самом счастливом дне моей жизни, я говорю, что это был День Победы 9 мая 1945 года. Никогда не видела я потом у людей более счастливых лиц. И тогда, 9 мая 1945-го, верилось, что после таких потерь, страданий, ужасов люди поймут, наконец, бессмысленность войн.

Марусева Валентина Степановна

Война началась для меня, семилетней девочки, с внезапной паники, которая вдруг охватила людей на улице, с гула самолетов и тревожного крика матери, звавшей меня домой. Домой не хотелось. Мы с ребятами еще не доиграли. В руках у меня был деревянный пистолетик. Лазая с мальчишками по акациям, я палила из этого пистолетика: пых, пых...

Палила по не нашим. «Наши» и «не наши» – эти две силы сражались друг с другом в наших детских играх в войну до 22 июня 1941 года. После 45-го все дети в своих играх воевали с немцами. А тогда мать, с трудом зазвав меня, старшую дочку, в квартиру, резко захлопнула дверь, словно отсекая мирную тишину дома от тревоги, царящей на улице.

Отца на фронт не взяли, у него было слабое зрение. Всю войну до смерти от гнойного аппендицита работал он на Кировском заводе автомехаником. На заводе и жил. Домой, в Выборгский район, заглядывал изредка, приносил кусочки хлеба, оторванные от своей пайки.

Мама работала дворником. Семья в 26-м году переехала в Ленинград из Саратовской области, и ради жилья, комнаты в коммунальной квартире, мама взялась за метлу. В блокадные зимы за рабочую пайку 250 граммов хлеба собирала трупы умерших на улице. Нас, троих детей, мама в эвакуацию так и не отдала. Мы все: я старшая, мне в 41-м году было 7 лет, средняя трехлетняя сестренка Верочка и младшая полугодовалая Ниночка, оставались при ней.

Голод наступил быстро. Я хорошо помню, как однажды отец принес домой бидончик черной патоки, очень вкусной, так мне и сейчас кажется, хотя с горьким привкусом. Это был расплавившийся сахар, который местные жители черпали с земли на месте пожарища, оставшегося от Бадаевских складов. Помню, как собирала с ребятами плоды акации – маленькие горошины, которые жарили и ели. Помню, как варила мама сухую горчицу. Варила долго и упорно, чтобы избавиться от острой горечи. Из горчицы мама пекла лепешки. И даже сейчас помню этот их вкусный, как казалось тогда, поджаристый запах.

Зимой к голоду прибавился холод. Поселились в кухне, где была печка, топили всем, что горело. Воду добывали из снега. Но одной водой сыт не будешь, а голод безжалостно косил людей. Помню, как принес дядя Илья, папин брат, немного конины. Он работал начальником пожарного подразделения. Видно, околела лошадь, служившая у пожарников.

А вот от кусочка собачатины мама отказалась. Соседи пустили под нож свою овчарку, предлагали маме, но та сказала, что не может есть того, кого хорошо знала при жизни. Соседи знали свою собаку еще лучше мамы, но съели все до последней косточки, еще и нахваливали, баранину, мол, напоминает.

Я помню, как часами лежала в голодном забытии, обнявшись с сестренками, как мы ждали маму. Младшая Ниночка плакала, а я, прижав эту кроху, мою родную сестренку к груди, уговаривала: «Не плачь, Нина, скоро мама принесет нам хлеба». Все мысли были только об этом кусочке хлеба.

...В 43-м, после прорыва блокады, прибавили хлеба по карточкам, рыбу привезли из Мурманска, но сил жить уже не оставалось. Давно перестали укрываться в бомбоубежище во время налетов. Сначала бегали туда, как только звучал сигнал тревоги, но там приходилось часами стоять на ногах в ледяной воде, такое было наспех вырытое укрытие. После одного очень длительного налета, когда, смертельно усталые, не чувствуя ног, возвращались домой, мама сказала: «Больше вас туда не поведу». Прятались в своем доме под лестницей, а потом... «Какая

разница, где нас накроет», – махнула рукой мама, и мы оставались лежать в кровати, чтобы не растерять крохи накопленного вместе тепла.

Так и жили-выживали, пока в апреле 43-го нас не вывезли из окружения. Ехали по Ладоге по льду, на наших глазах проваливались под лед машины, людей, пока машина медленно уходила под воду, спешно высаживали. Не все могли спастись. Тех, кому повезло, пересаживали на другие грузовики. Так и наш транспорт пополнился во время пути.

Когда проехали Ладогу, помню вкусный запах дыма от полевой кухни. В первой же встретившейся на пути полевой кухне военные дали нам полный котелок каши. Такое богатство! Мама осторожно кормила нас по ложечке, а мы кричали: «Дай! Дай! Дай еще! Еще дай! Ты жадина, мама! Жадина! Жадина!». «Нельзя сразу много», – увещевала мать, – с непривычки и умереть можно, я вам потом еще дам, попозже. Есть надо понемножку».

Помню, как один солдат взял меня на руки и спрашивает: «Девочка, сколько тебе лет?». Я говорить не могла от слабости, на пальцах показываю – восемь. Он заплакал, говорит: «Я думал, пять. У меня ведь дочка такая же»...

Из дневника Розина Валентина Павловича

Ленинград, 2.01.1942

Рыночные цены (примеры):

Хлеб – 100 г – 40 р.

Папиросы: «Беломор» – 1 п. – 15 р., «Звезда» – 10 р., «Прибой» – 10 р., «Норд» – 10 р., «Ракета» – 8 р.; табак – 1 пачка – 20–30 р.

Сахар, конфеты, масло – меняются только на хлеб.

Великолепные олени сапоги с меховыми вкладышами – 2 кг хлеба.

Пальто мужское демисезонное, польский драп – 1 кг хлеба.

Дрова 1 метр³ – 4 кг хлеба.

11.01.1942

Ленинград – кладбище живых трупов... Люди мрут как мухи! Многие знакомые уже ушли в вечность... Вась Васич... Бирк... Черт знает что такое, здоровые ребята, и так глупо погибают. Выходишь на улицу – наблюдаешь демонстрацию гробов, их так много, что волосы встают дыбом. Кое-как сколоченный, бесформенный ящик, двухместный, трехместный, и просто в тряпках завернутого везут на саночках. Куда ни глянешь: гробы, гробы... В среднем, на сегодня смертность составляет 9–10 тысяч человек. Трамваи уже давно не ходят. Голодные, обессиленные люди, еле переставляя ноги, плетутся порой через весь Ленинград. Жуть! Опухшие, с истощенными лицами, люди напоминают воскресших мертвецов. Воды нет, света нет, топлива нет. Копилка с машинным маслом решает проблему освещения. Ночью в морозном воздухе царит симфония разрушения, варварски сносящая все пригодное для отопления: деревянные постройки, заборы и т. д. Растет преступность, отнимают карточки, хлеб, в любое время дня. В магазинах по карточкам многих продуктов нет. Надежды на прибавку – никакой. Чувствую себя херово, ноги отказываются ходить, у Н. ноги – как бревна. Игоря на улицу не выгонишь. Переживем...

21.01.1942

...Зимний вечер долгий. Чего только не передумаешь в течение него. Вспоминаешь о прошлом, анализируешь настоящее, думаешь о том, что тебя ждет впереди. Из всех дум одна крепче всех: как бы суметь пережить это тяжелое время, как бы разъяснить вопрос с едой. Все время хочется есть, с нетерпением ждешь 6 утра, чтобы скорее выкупить пайку хлеба.

Хочется отогнать от себя назойливые воспоминания о прошлом, когда ты ел досыта, но сделать это никак не в силах – становится крайне досадно. Целый месяц со дня на день надеемся получить прибавку хлеба – и ни черта! За целый месяц уже не выдаются полагающиеся продукты, главное – жиры – херово! Если бы не Токсово и не тетя Лена, мы бы давно пропали. Только благодаря им мы еще немного продержались и не потеряли облик человеческий. Но сейчас эти источники исчезли: в Токсово поезда не ходят, а тетя Лена отказала, что будет дальше? Жутко подумать. Жалко Игоря – такой парнишка.

Ленинград еще в железном кольце блокады, ежедневно получаем прибавку в виде артиллерийского обстрела, хоть бы скорее раздавить гада! Ленинград – мертвый город. Народ в панике творит безобразие, весь город загажен, сломаны красивые заборы и ограды, жгут цокольные этажи! Каждый день возникают пожары, пожарные со стороны наблюдают и греются – тушить нечем, воды нет.

22.01.1942

Этот день я традиционно проводил на лыжах в «Мельн. Ручьи» – какое это было время! Нынче, при всех условиях прекрасного зимнего покрова, еще не пришлось стоять на лыжах – до слез обидно! Но и не до лыж – ноги совсем отказываются, подняться по лестнице на второй этаж представляет собой довольно сложную задачу. Писем ни от кого нет. От родни, месячной давности открытки Г. только раздражают... Сколько ему не высылал – все мало. Очевидно, корреспондент пропадает. Особенно жаль посылки.

Стоят настоящие крещенские морозы – ух как холодно! Счастье, что есть дрова, а то бы совсем «труба»! Вообще зима – просто сказка, деревья убраны инеем, красивое небо, звездные ночи! При условии мирного времени эта зима оставила бы много приятных впечатлений и воспоминаний. Сейчас же вопрос «поесть» – заслоняет собой все прекрасное на свете! Обидно... Завод не работает. Безалаберность, хаос, произвол и беспорядок – царят повсюду. Скорее бы весна – переживем!

24.01.1942

Прибавили хлеба. Очень мало, но все-таки чувствуется моральный подъем. Очень плохо, что не выдают остальных продуктов (жиры, сахар!), а то с этим хлебом уже можно было бы существовать, не думая о голодной смерти... Характерно, что в эти дни мне, Н. и сыну снятся сны о хлебе. А я сегодня во сне – в каком-то театре, после окончания спектакля стоял в очереди в буфет за пирожными, но конечно... не досталось! Сегодня – 18 лет назад хоронили Ильича... Сегодня такой же жуткий мороз, как и тогда – в 1924 г. Хотел сегодня (суббота) идти до Токсово на лыжах, но очень большой риск в такой мороз, с кусочком хлеба пускаться в такое путешествие, подожду более теплой погоды. Просмолил лыжи, смазал ботинки, но, как говорится, «видит око, да зуб неймет».

Горит здание за зданием. Эпоха «буржук» войдет в историю Ленинграда. Очень жаль, что горят все хорошие капитальные здания.

Хлеб на рынке – 50–60 р. – 100 г. Папиросы – 60–80 р. пачка. Пачка табаку за 2 р. – 200 г. Хлеба. Вязанка дров из 20-ти полешек – 80–90 р. Люди мрут...

29.01.42

Вода... Уж и без того на проклятого ленинградца все невзгоды и лишения, а тут еще безобразие с водой! Город перекрыл подачу воды. Для того чтобы достать немного воды, необходимой для хозяйства, приходится стоять в очереди у канавы – это еще полгоря. Пекарни, не получая воды, прекратили выпечку хлеба. Народ сутками стоит в очереди за куском хлеба и может не получить. Подорвали последний и единственный источник существования... Жуть! Дело дошло буквально образом до убийства. Народ мрет... И, видимо, никому до этого нет дела. Кругом творятся чудовищные безобразия и преступления – милиция не действует, сейчас ее хватит только на то, чтобы самим остаться в живых, за счет (намеченных) ими жертв.

Сегодня у меня вид особенно приятный – морда толстая, распухла, ноги еле передвигаются! Но ни черта! Злее будем, так дешево погибать не собираюсь. Скорей бы потеплело – пойду на лыжах в Токсово. Почта не работает, писем ни от кого нет. Страшно хочется чего-нибудь выпить и плотно бы закусить! Ха! Ха! – очевидно, несбыточные мечты! А кто знает? Может, через месяцок и стукнем о столик?

4.02.42

Тяжелый месяц январь позади...

Прожит «месяц смерти», голодный месяц... Тысячи людей не пережили тяжелых испытаний и навсегда ушли в вечность. На сегодняшний день смертность по Ленинграду, говорят, составляет 20 000, но, по-моему, эта цифра далеко не точна. Умирают целыми семьями. На

улицах везде трупы. На Карповке рядами лежат на снегу сотни трупов, грузовиками их транспортируют на кладбище, а там рабочие с заводов, в порядке трудовой повинности, роют общие могилы и укладывают туда их штабелями. Да, настроение жуткое! <...> Этот голод ужаснее голода в Поволжье в 1919 г. На фронтах, особенно Ленинградском, очевидно, дела не важны, т. к. с подвозом продуктов все также плохо. Сил не хватает ждать и надеяться. Хлеб хороший, но его совершенно недостаточно при отсутствии остальных продуктов. Завтра, невзирая на мороз, хочу предпринять рискованное путешествие до Токсово. Думаю утром пораньше выйти. Смазал лыжи, приготовил рюкзак. Только бы не подвели ноги! Ну, как-нибудь доползу! <...>

11.02.42

Еще одна победа! Прибавили хлебушка. Мало. Чем больше организм тощает, тем больше хочется есть. Я в состоянии съесть за один прием кило-два хлеба. Варить нечего. Жиров нет. Ну, что ж, и на том спасибо правительству! Угроза голодной смерти понемногу слабеет. Авось переживем!!

13 февраля 1942 г.

День рождения сына. Моему чаду исполнилось семь лет. Время бежит... Несчастливое для него время!.. В лучших условиях надо бы было выпить по этому поводу, ну что же, и выпили водички с пайкой хлеба. Подарил сыну <...> на костюмчик и альбом для открыток. Довели. Надюша извлекла баночку консервов, специально для этого дня оставленную, выменяли две вязанки дров на 400 г хлеба. Пообедали удовлетворительно.

Начинают выдавать понемногу продуктов, выдали крупы: мне – 0,5 кг, Н. и И. по 0,25 кг. Ожидается выдача масла. Становится чуть полегче. Говорят, что Понкова с работы сняли, за «хорошую работу», и как будто бы в Ленинград приехал Микоян (?). Если вопрос с улучшением выдачи продуктов наладится, то честь и хвала Микояну! Много рабочих уехало по вербовке на Ладожское озеро на разгрузку-погрузку продуктов – тоже действенные мероприятия. Мог бы уехать и я, но не дали, – возможно, на этом деле я прошляпил, т. к. по крайней мере там будут прилично питать, а это все.

Вчера разрешили очень важную проблему – всей семьей вымылись в корыте – замечательно! Эх! Покушать бы!

16.02.42

Хлеб на рынке становится несколько дешевле. Если несколько дней назад 100 г хлеба стоили 50–55 рублей, то сегодня 100 г можно купить за 25 р. Зато цены на табак и папиросы взвинчены до сумасшествия: табаку вообще мало, а папиросы (например, «Звезда») – пачка стоит 100 рублей. «Беломор» – 400–500 г хлеба. Из рыночных деликатесов надо отметить столярный клей, который имеет право обмена наравне с остальными продуктами. Плитка клея – 35–40 г – употребляется для приготовления студня. Вчера купил 3 плитки, сегодня испробуем с конячей ногой (копыто). На рынке продается и масса хороших вещей: торгуют в большинстве случаев эвакуирующим из Ленинграда. Но денег нет! Только еще выдали на вторую половину декабря, да январь целиком за заводом. Из продуктов подбросили еще крупы, выдали еще такую же норму за вторую декаду февраля, почему-то не слышать о масле, надо бы жиру. Нормы продуктов (на рабочего): крупа – 2 кг, масло – 0,8 кг, мясо – 1,5 кг, сахар – 0,96 кг.

24.2.42

Прошел День Красной Армии. Ждали прибавления продуктов и хлеба – но нет! Вот уже две ночи под Ленинградом страшная канонада, очевидно, наши жмут, но и он не спит. Опять практикуют артиллерийский обстрел города. Нашему дому положительно не везет, опять в ту половину дома закатил из дальнобойного. В общем, полдома расковырял основательно, придется, очевидно, перебираться в другое жильё. На днях, возможно, удастся разрешить вопрос с эвакуацией Н. и И. Если будет возможно, то провожу их до Ладоги. Хорошо хоть бы их-то отправить в деревню, там все-таки есть картошка и хлеб. Ну а мне придется, очевидно, медленно подыхать здесь одному – чувствую, что чем дальше, тем хуже. Организм тощает, а поддержать

нечем. Перспективы на фронтах не радуют. Наша армия истощена и вряд ли сумеет держать оборону, не говоря уже об активном наступательном действии.

Умер Димка Яковлев – не выдержал, бедняга. Хороший был парень. Наверное, не выживет и его друг Аркадий Титкин, сегодня заходил ко мне – вид жуткий. Хотел бы скушать кило-два хлеба!

28.02.42

Итак, еще месяц испытаний остался позади... Голодно! Но чуть полегче, благодаря тому, что подбросили немного продуктов. Впереди еще 1–1,5 месяца холодной зимы, а там и апрельское солнце немного подбодрит народ, лишь бы не было перебоев с продуктами! Иначе – всем смерть. Я иногда чувствую себя ничего, а периодами – жутко, не могу двигаться. Завтра должны явиться на завод работать. Бог мой! Какие с нас работники: большинство мужчин идут по улице с палочкой, являя собой жалкий, старческий облик. И это в 30 лет! Ну ладно! Попробуем поработать! Игорь, Надя – отлично! Игорь – вообще герой!

8.04.42

По счастливой ошибке я был назначен дежурным по кухне В.У.П.А. Надо честно признаться, что за все время войны я первый раз наелся досыта: мясо, рыбу, хлеб, желе, соевое молоко... Нарубался до того, что вот уже прошло два дня, а я равнодушно отношусь к завтраку, обеду – порой даже не хочу есть. Просто чудо! Вообще надо сказать, что с переходом на котловое довольствие я стал себя чувствовать гораздо лучше, даже физически окреп. Посмотрим, что дальше будет, во всяком случае: раз в желудке что-то есть, то и самому веселее становится. Н. тоже хлебом обеспечена – химичит с карточками. Сына устроил в круглосуточный очаг, там его хорошо кормят. 14 марта эвакуировалась теща с Шурой, работают в Сибири. 3 апреля умер тесть М. Т. Жаль старика, но помочь ему было нечем – его болезнь быстро прогрессировала и в очень короткое время превратила здорового в жалкую гнилушку.

Итак, весна в полном разгаре. Все ленинградцы в порядке трудовой повинности работают по очистке улиц и дворов от снега. Работа колоссальная. Гитлер сделал пасхальный визит в Ленинград. В канун пасхи был большой налет авиации – набросал «игрушек», разрушил несколько жилых домов. Надо полагать, что скоро начнутся «горячие деньки».

23.04.42

Весна в полном разгаре... Все время стоит великолепная, теплая погода. Вскрылась Нева. С 15 апреля пустили несколько маршрутов трамваев. Ленинградцы до того отвыкли от трамваев, что с открытыми ртами останавливаются при виде идущего трамвая. Начали работать несколько кинотеатров. Я на В.У.П. е – нач. клуба, вероятно, по ошибке наладил демонстрацию кинофильмов, почти каждый день пропускает кинокартину. В общем, внешне у нас как будто бы все в порядке. Но Гитлер, зараза, начал сильно беспокоить – каждый день активный арт. обстрел. Даже ночи все напролет жуткая канонада. Ну, может, все это в нашу пользу, скорее бы какой-нибудь конец. Все страшно надоело. Сегодня – окончание учебы этой очереди В.У.П.А. Что будет дальше? – неизвестно. По всей вероятности, пойдём трубить на завод. Скоро веселый праздник 1 мая, а на душе очень скучно. Не радует ничто! Ни новая квартира, ни вещи... Единственным приятным моментом можно считать то, что обещают к 1-му выдать горилки! Эх, мать-честная! Хоть выпьем с горя, авось, чуть веселее станет. Сегодня заходила утром Тимшина М. В. с ужасным известием – ночью умерла Ирочка – жаль девочку, сгубили ее в яслях. Мы все – я, Н. и Игорь встретили весну <...> Ну, как-нибудь!

23.5.42

Проходит май... Одиннадцать месяцев войны с проклятым врагом. Ленинградцы под влиянием наступившей весенней погоды и от майских выдач продуктов понемногу «оттаивают». Выдали на праздник горилки – немного встряхнулись. Немец продолжает запугивания: изредка совершает налеты, но они не имеют никакого успеха. Довольно часто ведет арт. обстрел – это хуже. Все районы Ленинграда уже пострадали от снарядов. Но ни черта! – нас теперь и это не пугает. Ленинградцы, оставшиеся в живых, <понимают, что мы победим> бесславно вояку, мерзавца Гитлера!..

Из дневника Фокина Владимира Васильевича

22 /VI-41

День начался не как обычно; встали 6 ч. 30', позавтракали, пошли на завод. По радио все время передают музыку; в воздухе бесконечно патрулируют самолеты. Погода стоит солнечная, а поэтому самолеты летают на больших высотах.

К 8 часам пришел на завод, на заводе как обычно – все взоры устремлены на выполнение программы.

В 11 часов по радио сообщают, что в 12 часов 22 июня слушайте выступление главы правительства В. М. Молотова. Все с нетерпением ждут назначенно<го> часа. К 12-ти часам я находился в саду у Боткинской ул. В это время выступал Молотов с сообщением о том, что на СССР вероломно напала фашистская Германия, без объявления войны. Это сообщение на меня произвело потрясающее впечатление, ибо я чувствовал, что завязывается великая мировая бойня; да к тому же мы почти не имели передышки после Финской войны. По окончании работы на дворе был общезаводской митинг. В 19 часов услышали первые выстрелы зенитных орудий, но тревоги не было.

23/VI-41

В 1 час ночи объявлена первая воздушная тревога. В воздухе много самолетов, трудно понять чьих. Большое количество светят прожектора.

К 8-ми часам иду на работу. Работаем по-старому, но напряженно, все прислушиваются к микрофону. В 15 часов объявлена тревога, все в панике бегут во двор завода, а отсюда в Выборгский сад культуры, прячемся в траншеях. Я с Колесником остаюсь в мастерской. По окончании работы все занимаются оклейкой стекол бумагой. В садах, на стадионах и на некоторых улицах начитают рыть траншеи. Мне особенно жаль стадионы, которые портят основательно: стадион 3-да «Светлана», «Красной зари» и др.

Начинается усиленная мобилизация в армию, на заводе отдельным рабочим дают брони, мне не дают.

24/VI-41

Внимательно следим за сводками Информбюро, которые сообщают о быстром продвижении немецкой армии и потере наших городов.

Получаем с Марусей удостоверения на очередной отпуск, собираемся ехать к детям, которые находятся в деревне с Марусиной мамой.

Во всем «Лесном» идет усиленная копка траншей. В основном роют ремесленники. Ломают палисадники и деревянные заборы.

25/VI-41 года.

В отпуск не пускают в связи с военным временем. Маруся хлопочет об отпуске на три дня на себя для привозки детей.

На заводе работаем по 12–16 часов, без выходного дня. Во время работы объявляется воздушная тревога, все в панике бегут из цеха, прячутся в траншее в саду Д.К. От этого получается большая потеря рабочего времени.

28/VI-41

В отпуске Марусе отказывают. Мы беспокоимся за судьбу мамы с детьми. В городе начинается эвакуация детей. Завтра Маруся с Полиной решают ехать самовольно к детям. Маме послали телеграмму.

29/VI-41

Маруся с Полиной поехали за детьми. Клава с Сережиной Шурой собираются эвакуироваться.

30/VI-41

Рано утром приезжает Маруся, вид ее не подлежит описанию, она очень измучена, растрепана, вид ужасен, я за нее испугался. На мой вопрос: «Где дети, что с ними случилось», –

она ответила: «Все в порядке», – и заплакала. Оказывается, они доехали только до Луги и дальше поезда не шли, дорога была разбомблена. Тогда они пытались дойти пешком, но в силу большой бомбежки идти не могли и вернулись.

1/VII-41 года

Сильно беспокоимся о детях, о их судьбе. Посылаем телеграмму о том, чтобы мама выезжала одна с детьми. С работы спешим домой, думаем, что, может быть, есть какие-нибудь известия о детях.

2/VI-41

Провожаем Клавдию с Шурой. Клавдия едет с неохотой, она также переживает за судьбу наших детей. Если бы были Алик и Юра, то Маруся <бы> вместе с Клавой эвакуировалась. Провожали Клаву: Алексей Ильич, Шура, Сергей, Маруся и я. Вокзал переполнен эвакуированными. После проводов пошли все в кинотеатр «Титан». Сергей обиделся на меня, зачем я взял дорогие билеты в кино (3-50 к.).

3/VII-41 г.

Посылаем маме телеграмму и денег 200 рублей. Немного успокоились за детей тем, что из Ленинграда детей эвакуируют в те же районы (Старой Руссы, Дно, Пскова).

5/VII-41

Маруся пытается одна пройти к детям пешком, так как поезда не ходят. Но дальше Луги дойти не может. До нее дошли слухи, что немец взял Псков. Это сообщение окончательно меня убило, мне настолько тяжело, что я в этот день неоднократно плакал. На заводе работа не идет на ум, думаешь только о детях.

6/VII-41

Ходил в Смольный, наводил справки о детях в областном эвакуационном пункте. Но безрезультатно. В Смольном узнал от посетителей, что население большинство скрывается в лесах. Боюсь, как бы мама с детьми не рискнула пойти в лес, тогда, надо полагать, что они погибли.

7/VII-41

Думаем только о спасении детей, нет других мыслей и вопросов. Сегодня Маруся ходила в Смольный, ей сказали, что из тех районов эвакуировали только население, близ находящееся к железной дороге. Но наши живут за 40 км от железной дороги. Так что они наверняка не эвакуированы.

10/VII-41

От нашей мамы получили письмо, которая находится в городе Курске у Миши. В письме она пишет, что старается приехать к нам в Лен<ингра>д. Сегодня в день было восемь тревог, но налетов еще не было. Народ нервничает, из-за тревог опаздывают на работу, продолжительное время приходится стоять в парадных.

11/VII-41

Маруся, Полина и я ходили на Варшавский вокзал, узнавали, нет ли сообщения с Псковом. Но этого сообщения еще не восстановили, да и восстановят ли. На вокзале дали маме телеграмму. Хотя говорят, что этот район занят немцами, но телеграммы принимают. Они, наверное, по месту назначения не доходят. Из газет узнали, что в Москве в Кремле есть оргбюро по розыску пропавших граждан. В Москву написали письмо о оказании нам помощи в розыске детей и матери.

13/VII-41

На заводе проводят запись в добровольческие отряды по борьбе с воздушным десантом. Партийцы должны записываться в обязательном порядке. Народ записывается «скрепя сердце»,

особенно это заметно у Кораблева, Мочалова, Баранов Анатолий в силу трусости не записался совсем.

Марусин брат Костя идет в армию.

15/VII-41 г.

Работа проходила с большими перерывами ввиду воздушных тревог. Мне как мастеру трудно работать. Администрация спрашивает выполнение задания, а его не в силах выполнить. Особенно большой прорыв на участке «И. У», которые собирает Никольщентко. После работы ходил в Смольный, наводил справки о детях, но безрезультатно. Из Москвы на мое письмо ответа еще нет.

19/VII-41

После ночной смены поехал на Варшавский вокзал к Николаю Шпаку, который там работает диспетчером при комендатуре. Просил его, чтобы он приложил усилия к розыску детей. Он мне сказал, что проехать в этот район уже невозможно, он занят немцами. Он познакомил меня с комендантом станции Пскова, который мне рассказал о всем существующем положении того района, где находятся мои дети. Он сказал, что немецкие войска так быстро пришли туда, что население не успело эвакуироваться. После этого я заключил, что наши дети остались на оккупированной территории. Но, в свою очередь, ждал известия из Москвы. После этого разговора я с Николаем сел в трамвай, и <мы> поехали домой. Он мне жаловался на тяжелый характер Нины, с которой он разошелся. Но о разводе он сожалел, ему жаль было также расставаться с Лялей – дочерью.

22/VII-41 г.

Месяц войны. Первый массовый налет на Москву в количестве 200 самолетов.

24/VII-41.

Эвакуируется Нина с Лялей.

Получили от Клавдии письмо. Остановилась она в гор. Молотовск. Вызывали в Райвоенкомат, проверяли документы.

Население мобилизуют на оборонительные работы. Я также с утра до ночи работаю, приходится работать, по суткам не выходя с завода.

27/VII-41 года

Получил известия из Москвы, сообщающие о том, что детей наших в списках эвакуированных не оказалось. Это письмо убийственно подействовало на меня, кажется, нет никаких возможностей найти Алика и Юру со старухой матерью.

30/VII-41 года

Работа идет напряженно. Меняева сняли. Начальником поставили Атаяна. Ребят с работы снимают на военные занятия. Лица, ранее записавшиеся в отряды по борьбе с воздушным десантом, сейчас направляются в партизанские отряды и добровольческие. Из цеха ушли в эти отряды следующие товарищи: Мочалов, Кораблев, Синичкин, Васильев, Гуменков, Васильев, Никонов, Кузьмин П. и др. Уходит в армию Саша Полинин.

2/VIII-41 года

На работу опоздал на 30' из-за тревоги. Трамваи ходят с большими перебоями.

7/VIII

Услышал, что наши ребята, ушедшие в партизанские отряды, действуют в районе, где находятся мои дети. После работы вместе с Сашей Ипатовым поехали на Охту к Полозову, который являлся начальником штаба отряда. Но он помочь ничем не мог. О детях бредим с Марусей день и ночь, жизнь стала безразличной. С продуктами становится все труднее и труднее.

15/VIII

Ходят слухи о том, что наш завод будет эвакуироваться. Рабочие работают лениво, администрации в цеху не видно. Стрежнев ходил сегодня по мастерской и списывал оборудование.

17/VIII-41

Начало эвакуации завода, приступили к снятию станков. Работаем день и ночь. Особенно работают по погрузке Журин, Глебов, Синичкин, Егоров и я.

19/VIII

В цеху собираются группами, все говорят об эвакуации. Особенно спешат уехать-убежать парторг Смирнов Саша, Стрежнев, Топориков, Федонюк и с ними Беликов.

В этот день уходит первый эшелон, в котором уезжают Шура с Настей, Ольгой и Мария наша. Они так спешно уехали, что даже с нами не попрощались.

21/VIII

Погрузка идет так же усиленно, первый цех уже целиком погружен. Отправляется второй эшелон, в котором уезжают Смирнов, Стрежнев, Топориков, Горожекин и им подобные трусы.

26/VIII

Мы с Марусей погружаемся в четвертый эшелон на Нейшлотском переулке. В вагоне подбирается веселая компания. Силигин, Горнов, Кромчанинов, Киселев, Степанов, Соломонов, Цветков, Глебов, Москвин и др.

2/IX-41 г.

Вводится карточная система на продукты питания. Наш эшелон перегоняют с Финляндского вокзала на Варшавский.

6/IX

Первый обстрел города из дальнобойных орудий района Московского вокзала.

8/IX-41 года

Мы стоим так же на Варшавском вокзале. Около шести часов вечера над Пулковым я заметил группу самолетов, состоящую из 16 легких двухмоторных бомбардировщиков, шедших на высоте 900–1000 mt. Это были немецкие. Наши зенитки открыли ураганный огонь. Самолеты шли в сплошном разрыве зенитных гранат. Дошли они до вокзала, не нарушая боевого строя, развернулись на восток и стали бросать зажигательные бомбы. Когда они летели надо мною, то я сильно перепугался, ибо думал, что они будут бросать бомбы на наш эшелон. В это время вспыхнуло много очагов пожара: три в районе станции, на электростанции, на мельнице им. Ленина, и очень большой силы был пожар на Бадаевских складах, который продолжался до утра следующего дня. Весь этот район стоял в сплошном дыму. После бомбежки самолеты так же строем повернули обратно. Этот налет потрясающее впечатление произвел на всех людей. Я убедился, насколько бесцельно ведет огонь зенитная артиллерия. Маруся в это время была в Лесном.

9/IX-41 года

В 1 час ночи воздушная тревога. Не успела прогудеть сирена, как началась стрельба зенитной артиллерии. Начинает бомбить фугасными бомбами район вокзала. Слышим свист падающих бомб. От страха все прячутся под вагоны. Я стою у вагона и во время свиста снаряда инстинктивно прижимаюсь к вагону, под которым сидят Маруся и Валя Мишурина. Со страху Андрей Степанов куда-то убежал. С началом дня народ начинает расходиться из вагонов по домам. Горлов в эту ночь ночевал дома, в их районе была сильная бомбежка, и поэтому с испугу он прибежал в вагоны и решил не ходить домой. Всюду становится страшно. Мы с Марусей остаемся в вагоне.

10/IX-41

Становится голодно, белого хлеба не дают. Обедали в ресторане, платили по коммерческой цене; котлеты по 7 рублей, пирожные по 4 рубля. В 22 часа сигнал «В<оздушная>Т<ревога>». Народ в панике выбегает из вагонов, бегут в бомбоубежище под вокзал, старухи и дети плачут, не могут вылезти из вагона. Я, Маруся и несколько других товарищей остаемся дежурить у вагона. Особенно большую трусость проявляют: Кромчанинов, Сузлич и Маруся Степанова, которые сидят все время под вагонами. Да вообще стоять на открытом месте очень опасно, падают и бомбы, а еще больше осколки от зенитных снарядов. Бросает фугасные и зажигательные бомбы во всех концах города. Особенно сильно горит церковь недалеко от Бадаевских складов.

Во время этого налета во многих местах города пускали разных цветов ракеты. Я думаю, что это сигнальные ракеты, но что это за сигналы, – трудно понять. Всю эту ночь мы не спали, тревога объявлялась четыре раза.

11/IX

Народ теряет надежду на эвакуацию. Немец усиленно начинает бомбить. От страха бомбежки некоторые убегают по домам. Мы с Марусей приходим ночевать к отцу. В 11 часов ночи сигнал «ВТ», и сразу слышим сильные разрывы. Отец, Антонина и Рита бегут в бомбоубежище, мы с Марусей остаемся лежать в постели. Очень хорошо слышим противный свист падающих бомб, которые несут народу смерть. В городе кругом зарево, <в> воздухе сплошные огни от ракет, разрывающих снарядов и прожекторов.

12/IX-41

Смотрел разрушенные дома от бомбежки прошлой ночью. Особенно много пострадало народу в разрушенном доме на Клинической ул<ице>, на Боткинской и <у> Финляндского вокзала. Картина разрушений очень жуткая. Днем была воздушная тревога, народ так напуган, что сразу бежит в щели, в парадные и в бомбоубежище. Ночь ночевали в вагоне. В течение ночи было три тревоги. Я перетрусил основательно и у вагона не мог оставаться, убежал в вокзал в бомбоубежище. Решил больше не ночевать в вагоне.

13/IX-41

В течение дня не могли нигде пообедать, в столовых нет ничего. В Лесной не могли доехать из-за неоднократных тревог. Остались ночевать у отца. Ночью опять был налет, бомбежка была основательно, дом все время колебался, близ<ко> был к тому, что разрушится. Отец, Антонина с Ритой в панике убежали вниз. Антонина эту ночь ночевала в бомбоубежище. Сергей работает на оборонных работах, он тоже собирается с заводом эвакуироваться.

15/IX-41

Сообщают, что эвакуация отменяется в силу блокады города. Все разъезжаются по домам. В Лесной мы не доехали, остаем<ся> у отца. Ночью был сильный налет. У отца оставаться весьма страшно, в Лесном более спокойно. Алексей Ильич работает на оборонных работах с ремесленным училищем.

17/IX-41

Сегодня был на заводе. Начали ставить станки. По установке станков работают Журин, Глебов, Колесник и я, те, кто ломали, они же теперь и восстанавливают. Во время эвакуации много поломали ценного оборудования, ибо за погрузкой никто не следил, все пустили на самотек, каждый начальник думал только о том, как бы скорее удрать. Маруся не работает, сидит дома, думает все об Алике и Юре, эта мысль не покидает нас ни на минуту. Вот время идет к зиме, а они у нас уехали во всем летнем. В чем будут ходить зимой – не имеем представления.

20/IX-41

С Колесником оборудуем слесарный участок. Работать достается очень тяжело. С продуктами становится все тяжелей и тяжелей. В столовых кормят только первыми блюдами, изредка продают булки.

23/IX-41

Меня с Колесником назначили мастерами слесарного участка. Готовимся к работе выпуска ППД. На токарном участке мастерами Журин и Кромчанинов, на фрезерном Глебов и Буняев.

24/IX-41

Снова начали работать после эвакуации. Работать очень трудно, нет ни тех<нологических> процессов, ни инструмента, ни приспособления, работа сложная. Работаем по 12 часов.

27/IX-41 г.

Сергей тоже не эвакуируется, его переводят работать в 4 цех, на сборку ППД. Он переехал жить к нам. Вчера приходил к нам Алексей Ильич. Мне обидно на Сергея и Алексея Ильича, которые ни разу не спросят о судьбе наших детей, все целиком <поглощены> личными вопросами и своими женами.

3/X-41

Вечером собираемся все у нас, обедаем за одним столом. Сергей приносит с огорода, где он работает на оборонных работах, брюкву, что составляет для нас третье блюдо.

Работать становится невыносимо, Атаян «долбаёт» за работу ежечасно. Работу налаживаем своими руками. Журин, Глебов уже получили по выговору.

5/X-41

Сигналы воздушной тревоги не дают покою, часто отрывают от работы. В бомбоубежище бегаем тогда, когда поблизости упадет бомба. Сегодня днем во время налета была сброшена осколочная бомба на завод, она упала между третьим и вторым цехом. Осколками убито два пожарника, пострадал незначительно Канутин. Рабочие все больше боятся воздушных тревог.

7/X-41 года

Норму хлеба получаем 400 гр. В магазинах большие очереди; в очередь становятся с 2 часов ночи, и в результате ничего не получаем. Сергей, видя, что Маруся живет на иждивенческой карточке, и беспокоится, что его норма перепадет Марусе, уходит жить в Старую Деревню к себе.

10/X-41 года

Маруся поступает на завод Энгельса, в контрольный отдел. Пошла работать на Энгельс с той целью, что близко от дома; трамваи не ходят или очень плохо ходят. Я с завода больше хожу пешком. На заводе до 20 часов работаю мастером, а с 20 до 23 часов рабочим, Атаян основательно измотал и морально, и физически. Сегодня он заставил вторые сутки работать Дудкина, у которого температура 38, и он еле стоит у станка.

13/X-41 года

С Марусей видимся мало, я больше ночую на заводе. Голод ощущаю все чаще и чаще. В столовой дают только по две тарелки супу из бобов. В столовой нет ни ложек, ни тарелок, приходится носить все из дому.

17/X-41 года

В течение дня тревоги повторялись восемь раз, почти целый день не работали, отсиживались в бомбоубежище. Как обычно, мы с Колесником остаемся в цеху. Во время тревоги стояли у цеха и отчетливо слышали противный свист падающей бомбы, а потом увидели ее в воздухе, от страха мы с Колесником прижались к земле. Эта бомба упала на Гарднеровском пер<еулке> около угла проходной кабины, врезалась метра на два в землю и не взорвалась. В эту же тревогу были сброшены бомбы на набережной около завода. Есть убитые и раненные.

20/X-41 года

Начало зимы. Мороз стоит 15°, выпал глубокий снег. Я работал целые сутки. Чувствую сильную усталость от недоедания и от большого рабочего дня. Утром приходил Костя, принес

два сухаря и грамм 40 масла, чему мы с Марусей были рады. Видно, Костя сам не доедает, а старается все нам принести. Говорили с ним о наших детях и маме. Он очень сочувствует нам в таком большом горе, но помочь ничем не может.

27/X-41 года

От голода некоторые начинают пухнуть. Это зрелище меня поражает, я никогда не думал, что от голода человек может так пухнуть. У меня на участке пухнет Малинин, Майоров. Все рабочие только и говорят о хлебе, но его нигде не купить и не достать. Администрация завода и цеха о рабочих не беспокоится, в цеху холодно, работать невозможно.

29/X-41 года

Днем и вечером неоднократно повторялись тревоги. Рабочих не выводят из цеха во время тревог до тех пор, пока где-либо поблизости не упадет бомба, что нервирует рабочих. Вечером во время тревоги на завод было сброшено много зажигательных бомб, отчего получились очаги пожара у 1 цеха, у 8 проходной, на 17 корпусе, у 7 цеха, сильно горел 3 цех. Мы с Колесником затушили 15 зажигалок у 1 цеха, 8 проходной, 7 цеха и во дворе завода.

1/XI-41

Атаян буквально не дает житья на работе. Сегодня приказом по цеху снял с работы мастеров Журина, Глебова, и старших мастеров перевел в сменные Лапшина, Буняева. Мы с Колесником пока работаем, но работать нет сил. Я чувствую, что руководство Атаяна неправильное, но жаловаться на него некому, он пользуется среди дирекции авторитетом, при том он орденосец.

3/XI-41

С работы ушел в 1 час ночи, домой пришел в 2.15 часа, сильно устал. Сегодня подал заявление нач^{альнику} цеха об освобождении меня с мастеров, работать мастером нет никаких сил. Колесник тоже подал об освобождении его от старшего мастера. Но Атаян нам в просьбе отказал. Голод берет свое засилье среди рабочих. Среди рабочих <количество> опухших все увеличивается и увеличивается. Веткин так сильно опух, что не может передвигаться. Пухнут также Плявин, Колосов, Лебедев. Малинин не работает, наверное, уже больше не вернется на завод.

6/XI-41 года

Вечером во время трансляции доклада Сталина началась тревога, но радио продолжало транслировать доклад.

Все рабочие в это время сидели в бомбоубежище. Бомбы падали так близко, что здание все время колебалось. Были сброшены бомбы на фабрику «Работница», разрушен дом на пр. К. Маркса, около ВДК у завода Ворошилова. Тревога продолжалась до 11 часов вечера.

7/XI-41 года

24-ая годовщина Октябрьской Революции, но этот праздник прошел в простом обычном дне. Маруся на этот праздник приглашала Алексея Ильича, Полину, Тому, и был Сергей. Этот праздник они отметили ничего, каждый приходил со своим вином, которого выдавали 0,5 литра, и хлебом 350 гр. Меня в этой компании не было, я целые сутки работал.

12/XI-41 года

Сергей, видя, что одному жить трудно, переезжает опять к нам, да и Маруся стала получать рабочую карточку. Я с Сергеем взгляды на жизнь не разделяю, он беспокоится только о себе, только о своей жизни, а на остальных ему наплевать. Подчас занимается «моклчеством» – скупкой краденых карточек, что мне очень не нравится.

На улице настоящая зима, мороз 26°. В цеху невозможно работать от холода, пар в цех не дают. Холод и голод окончательно подрывают здоровье.

14/XI-41 года

На улице стали обнаруживать трупы. У 9-й проходной, около двери сегодня целый день валялся труп 6–7-летнего ребенка. Рабочие, входя в проходную, все перешагивают его, не обращая на него внимания. Знакомые и товарищи в тылу мрут от голода, а на фронте от пули и снарядов. Вот оказывается, на фронте уже погибли Чуменков, Никонов, Ефремов, Смирнов, Якентович и ряд других товарищей.

16/XI-41 года

Днем приходил Костя, как обычно, поделился своим скудным пайком, кусочек хлеба и немного сахара, что для нас является хотя незначительной, но поддержкой. Трамваи останавливаются окончательно из-за недостатка электроэнергии. Дома сидим с коптилками. На заводе народ окончательно выходит из строя. Сергей Бюров уже третий день не работает, Леша Кузнецов лежит при смерти. А рабочим, которые стоят полуголодные и голодные у тисков, администрация выматывает последние силы.

20/XI-41

Трупов валяется на улице все больше и больше, вот на Гарднеровском пер<еулке> третий день лежит мужской труп, его уже растаскивают собаки, на Оренбургской ул<ице> каждый день прибавляется труп, это больные помирают, не доходя до больницы. Хлеба получают рабочие 250 гр., служащие и иждивенцы 125 гр. Продуктовые карточки не отовариваются. Очереди в магазинах продолжают стоять целыми днями и ночами, хотя стоять невыносимо, морозы достигают до 20°.

Тревоги становятся все чаще и продолжительнее. Вот сегодня, идя с работы с Сузиком, нас застала тревога у Бабурина. Сузик струсил идти во время тревоги и спрятался в траншею, а я пошел дальше, зенитки непрерывно вели огонь, и осколки от снаряд<ов> падали как град. Но я настолько был уставший, что не обращал внимания на этот «град». Эта тревога длилась 7 часов. И Сузик на другой день рассказывает, что он всю эту тревогу просидел в траншее, в холоде.

22/XI-41

Сергей принес какие-то две мясные тушки, говорит, что кролики, за которых заплатил по 80 рублей. Маруся сварила их и ела с пренебрежением, мы с Сергеем ели без всякого пренебрежения, ибо голод мучил основательно. Потом Маруся узнала, что эти тушки, которые мы съели, были кошачьими. За это дело Маруся на Сергея рассердилась. Но в это время в городе уже основательно уничтожали собак и кошек.

Налеты становятся настолько сильными, что не знаешь, куда от бомбежек прятаться. Сильно подвергаются бомбежке з<аво>д Красная Заря, К<арл> Маркс, Красный Октябрь, ф<абри>ка Работница, Кр<асный> маяк, особенно Новая деревня и Комендантский аэродром.

25/XI-41

На заводе стали подавать электроэнергию с перебоем. Работать становится все труднее и труднее. В цеху холод доходит до –15°, за инструмент взяться невозможно. В работе опираюсь на Томашевского, Васю Иванова, Овчинникова, остальные почти инвалиды. Сегодня на з<аво>де получил 400 гр. дуранды, это будет незначительная помощь.

28/XI-41 года

С завода шли пешком вместе с Сергеем. Раньше доходили от з<аво>да до дома за 45'–1 час, а сегодня шли около двух часов. Силы окончательно подрываются. Маруся была сегодня у Алексея Ильича, который на з<аво>де. Он сильно болеет, но не от голода, а от своей обычной болезни, он еще голода такого, как мы, не испытывает. Мне не нравится отношение Сергея к Алексею Ильичу. Когда Маруся сказала, что «Алексей Ильич сильно болен», то он на эти слова ответил: «Мне черт с ним, только бы мне выжить».

1/XII-41 года

Колесник добился своего, его освободили от должности ст<аршего> мастера и перевели см<енным> мастером. Меня Атаян все же не освобождает. Ст<аршим> мастером к нам поставили Музалева. Наши рабочие некоторые умерли, как, например, Малинин, Леша

Кузнецов. Сегодня во время налета около нашего цеха было сброшено много бомб, цех все время дрожал. Бомба упала на Астраханской ул<ице>, у отца в квартире вылетели стекла, на набережной, у бывшего первого цеха и заводе около нашей столовой.

5/ХП-41

Ходим домой каждый день пешком, трамвай встал, видно, окончательно, пути занесло снегом, их кое-где стараются расчистить. Думаю оставаться ночевать у отца, иначе ходить каждый день нет никаких сил. Вчера с Марусей пилили двора, хотя сил у обоих нет, Сергей не вышел и не подсобил нам, даже воды не принес. Живет целиком и полностью за наш счет. Беспокоится только о своем здоровье, до нас ему и дел нет. Немец начинает применять светящиеся ракеты, которые спускаются на парашюте весьма медленно и освещают на большом радиусе. Это зрелище весьма страшное.

7/ХП-41

Маруся с Сергеем ходили к Шуру на квартиру, хотели взять на сохранение кое-какие вещи, но их все подчистую взяла Птушкина, и нам не дала ничего. Считаю все Шурины вещи пропавшими. Он даже не мог доверить мне своих вещей. На Шуру и Марию я очень обижен, которые не могут написать нам даже письма.

10/ХП-41 года

На заводе не работаем все чаще и чаще, нет электроэнергии. Иногда сидим целыми днями в бомбоубежище, а больше ходим работать на расчистку трамвайных путей, хотя морозы стоят больше – 30°. Но администрация цеха не жалеет рабочих, хотя большинство из рабочих лежат дома и близки к смерти. У меня на работу не ходят: Сузик, Анисимов, Дудкин, Овчинников, Березкин и ряд других. Пути расчищают больше с женщинами: Игнатъева, Андреева, Бучарская, Ципина, Некрасова, Солуянова и ряд других, которые видят во мне основного эксплуататора, но я работаю так же, как и они. Нужно сказать, что это самая трудная работа, тяжелая физически и при холоде более – 30–35°.

15/ХП-41 года

С завода вышел в 6 часов утра вместе с Сергеем, до дому шли более двух часов. Сергей много плакался мне на голодную жизнь, хотя он съедает в день больше нас с Марусей. Мы голодны не меньше его, но больше молчим, ибо плакаться о голоде бесполезно.

Налеты немецких самолетов на город повторяются на дню несколько раз, сопровождая<сь> сильными бомбежками. Когда начинают бомбить, то у меня появляется такое впечатление, что вот и моя пришла смерть. Но лучше погибнуть от снаряда, чем помирать медленной голодной смертью, как многие другие рабочие.

20/ХП-41 года

Ходить домой ежедневно пешком нет никаких сил. Решили переехать жить к отцу, это все сохранит физические силы. Отец тоже плохо выглядит. У него, вероятно, ворует его паек Антонина.

23/ХП-41 года

Живем у отца одной семьей, и Полина с нами, вместе как-то веселее. Отец очень доволен, что мы приехали к нему. Бани не работают, моемся дома, не стеснясь друг друга. С дровами дело обстоит очень плохо, приходится возить из Лесного на себе.

Зима стоит невероятно холодная, снежная, и морозы стоят не ниже – 33–35°, история такой зимы не помнит.

Суточный рацион наш таков:

Встаем в 6 часов, по радио, начинаем топить печь и непрерывно кипятим воду, в которую добавляем крупы грамм 60–70 на 4-х человек, или разогреваем вчерашний суп, принесенный из столовой, который гораздо жиже, чем готовим сами. В обед жарим по кусочку грамм 70–100 хлеба на оливковом масле, которое покупаем на рынке, за 0,5 литра платим 80–90 руб. Вечером в 7 часов также по тарелке жидкого супа и по несколько стаканов пустого кипятку. Больше трех

раз в сутки не едим, ибо таков паек. От голода целыми ночами не спим, но об этом друг другу не жалуемся.

От Полининого Саши с сентября м<еся>ца нет известий. Я думаю, с ним что-нибудь случилось, но Полине своего мнения не говорю.

25/ХІІ-41 года

Завод встал окончательно, станки покрыты инеем, рабочих на завод ходит 25–30 %, остальные болеют, а многие померли. Помер токарь Вася Камилов, у меня на участке помер Ефремов. По улицам валяются трупы, которые не успевают убирать, особенно на нашей улице, люди, не доходя до больницы, умирают, каждое утро под нашими воротами лежит новый труп.

22/ХІІ Костя с красноармейцем прислал нам посылку на старую квартиру. Красноармеец передал ее Соне, чтобы та передала нам. Но Соня эту посылку съела, а Марусе сказала, что в магазине с ней случилось плохо, и ее какие-то женщины привели домой, и дома у нее украли нашу посылку. Сколько мы с ними ни ругались, но за посылку они нам ничем не заплатили. Да вообще и раньше мы за Соней замечали, что она занимается воровством, а сейчас тем более.

Днем, когда я пошел в магазин, то у нашего дома стоял, прислонясь к стене, один гражданин, иду обратно из магазина, он опять стоит, но в другой позе, лицом опершись к стене, вечером я вышел на улицу, он в такой же позе все стоит, но уже трупом. Так на ходу мрет и замерзает народ. Стоит только человеку упасть, как через него все начинают перешагивать, не поднимая его, и этот человек на глазах у прохожих помирает.

4/І-42 года

Маруся пешком ходила к Косте в Парголово, принесла от него буханку хлеба, 200 гр. масла и 40 гр. песку, для нас это великий праздник. Но Маруся от такого пути вымоталась основательно. Разделили паек на 4-х человек. Мне неудобно брать равную пайку, ибо для них Костя является брат и сын, а для меня дальний родственник по жене. Но голод заставляет делать все и не считаться ни с чем.

Около дома 23 по нашей улице лежит труп не то женщины, не то мужчины, разрубленный на четыре части, это зрелище весьма неприятное. А на углу около Сахарного переулка лежат два трупа, завернутые в одеяло. Трупы совсем не убираются, они только заносятся снегом, да и убирать-то некому.

Рядом за стеной плачут двое детей Уколовых, которые от голоду близки к смерти, мать на них все время кричит, а подчас и бьет.

9/І-42 года

Работаю с бригадой в 10 человек по расчистке трамвайных путей, это напрасный труд, трамваи все равно не пойдут, а мы расходует последние силы на – 30° морозе. На заводе за сутки подбирают 9–10 трупов, которые помирают в цехах, в бомбоубежище. Всех валят в хаотическом состоянии в бомбоубежище, а оттуда увозят на кладбище. Сегодня утром в кладовой у меня на глазах умер фрезеровщик Стрункин и какой-то ремесленник. Народ смотрит на все это зрелище равнодушно.

Дирекция завода никаких мер не принимает по оказанию помощи рабочим. Все пущено на произвол.

Маруся не работает с ноября м<еся>ца, взяла отпуск за свой счет. Полина тоже не работает, отец болеет, работаю один я. На заводе получил 4 плитки столярного клея и 300 гр. дуранды. Это будет для нас некоторая помощь. Клей еще покупаем на рынке, платим 30–40 руб. за плитку. Еще покупаем сыромятные ремни, из которых варим суп. Жизнь становится все труднее и труднее, народ мрет тысячами. Говорят, в городе в сутки умирает по 10000–12000 чел<овек>, не считая погибших от снарядов, которыми немец угощает почти каждый день.

13/І-42 года

В городе масса происходит пожаров от печек-временок, сгорел дом у Финляндского вокзала на Боткинской, горит з<аво>д «Русский дизель» и ряд других домов и заводов. Пожары почти не тушатся, потому что водокачка не работает, да и тушить некому.

Город разрушается от пожаров, от арт. обстрела и бомбежки с воздуха, город Ленина превращается в руины.

Сегодня видел Федю Семенова в кладовой, он ходить не может, у него цинга, на завод его привезла жена на санках. Я боюсь, что он не выживет, у него страшный вид, а ведь он был такой здоровый парень – спортсмен, а теперь в полном смысле инвалид. Миша Колесник вот уже как два месяца болеет, на работу не ходит.

Саша Рашкин тоже совсем пошатнулся, на грани смерти. Сегодня стоял перед Слатиным и плакал, просил помощи.

Моих работников много выбыло из строя, умер Баюров, Федотов Саша, Иванов Вася, Комаров, да, в общем, всех не перечтешь. Умирают лучшие кадровые работники, и о них никто не сожалеет, а это ведь золотой фонд. Саша Ефремов ходит опухший, как алкоголик. Живет он в заводе.

16/1-42 года

Сегодня в столовой Сергей выкупил 10 гр. ирисок и продавал их ремесленникам по 30 руб. за штуку. Мне за него было стыдно, что он занимается «обдираловкой». Он даже взял у меня мои 100 гр. и так же их продал. В общем, он ест больше моего, но вид у него ужасный, особенно грязный, и когда я ему говорю, чтобы он привел себя в порядок, то он на меня обижается. Он имеет две прод<уктовые> карточки, кажется, вторую карточку он выиграл у ремесленников в карты. Но вот проходит перерегистрация карточек, и у него одна карточка пропадает. Он не знает, что ему делать, как жить на одной карточке. А вот мы с Марусей не боимся этого, как жить на одной карточке, ибо мы двумя никогда не пользовались. Вообще, поведение Сергея мне противит, так нечестно жить нельзя. Мы с Марусей, хотя малым, но помогали ему, Маруся ему стирает, дровами нашими отапливается, свои продал, другой раз куском помогаем, и за все это он даже спасибо не скажет. Дома отец лежит больной, у него две голодовки, одна – нечем питаться, а другая – нечего курить. Да, курильщикам очень тяжело, табаку нет совсем.

Маруся ходила к Косте, мы ему общими усилиями собрали подарок – три пачки папирос и «маленькую» спирту. От него Маруся принесла 1,5 буханки хлеба и масла 100 гр. Я удивляюсь на Марусю, какая она сильная, как она проходит такой путь.

18/1-42 года

Сегодня в цеху встретил меня Сергей, жалуется, что плохо себя чувствует, но я помочь ему ничем не могу, сам чувствую не лучше, чем он. Живет он так же в парткоме, в темной комнате, но имеет уже одну карточку, что его окончательно подорвало.

Мне работать достается так же тяжело, да еще домой придешь – надо дров напилить и наколоть, за водой на Неву сходить. Морозы стоят до – 35°.

20/1-42 года

На завод страшно ходить, мертвых все увеличивается и увеличивается, бомбоубежище переполнено трупами, сваливают трупы у столовой. Картина жуткая. Чтобы получить обед в столовой, надо иметь талон, а такового иногда администрация не дает, приходится в «Ждановской» столовой такой талон покупать за 5–6 рублей. Я купил у Сергея Бодрова $\frac{3}{4}$ литра масла горчишного за 600 руб. Это нас поддержит основательно. Хлеб стоит 40–50 рублей 100 грамм. За такую цену купить невозможно.

23/1-42 года

Сегодня самый тяжелый для меня день. Прихожу на завод как обычно к 8 часам, в 9 часов меня встречает на дворе Слава Владиславлев и говорит: «Володя, говорят, в четвертом цеху какой-то Фокин помер, это не твой ли брат?». Я с ним поднимаюсь в 4-й цех и вижу на самом проходе у печки лежит заколеченный Сергей. На меня это так убийственно подействовало, что мне стало дурно. Но Слава и Миша Воробьев привели меня в сознание. Тогда я обшарил карманы у Сергея, у него оказались в карманах только ключи от квартиры да паспорт с военным билетом, а остальное было все украдено. Украли хорошие часы, прод<уктовые> карточки и много денег (около 3000 руб.). Оказывается, Сергей умер 20 января, и три дня он лежал в цеху на самом ходу, через него перешагивали рабочие, и никто мне не говорил об этом. Особенно я был

зол на Федю Карпова, который все это видел, он работал там мастером и не мог сказать мне об этом. Когда я ему сказал: «Почему ты не мог сообщить мне о Сергее?» – он ответил мне: «Мне надо вашего Сергея, я сам на таком же положении, как и Сергей».

После Слава, Миша Воробьев, Терехов и я отнесли Сергея к столовой и положили его там, где уже в этот день лежало около 100 трупов. Я с него не снял ни зимнего пальто, ни валяных сапог, так во всем этом и положил, мне его жаль было раздевать. Так я пришел домой и сказал об этом Марусе, которая с трудом поверила.

Похоронить в могиле своими силами я не мог, за могилу надо было заплатить 0,5 кг хлеба, а у нас его не было, отвезти на кладбище не было сил. А поэтому решил его похоронить так, как хоронит большинство. Смерть Сергея характеризует, как мрет народ города голодной смертью. Ведь Сергей ничем никогда не болел, а был физически крепкий и выносливый, и никакая болезнь его не могла побороть, и лишь только голод мог его побороть. Выражаясь словами Некрасова, «в мире есть царь, этот царь беспощаден, – голод названье ему». Под гнетом этого «царя» многие склонили головы.

25/І-42 года

С утра пошли к Алексею Ильичу сообщить ему о нашей горе. Он отнесся к нашему сообщению равнодушно, ибо смерть любого человека является в настоящее время нормальным явлением. Он посоветовал нам, что делать с его вещами и мебелью. Но мебель мы не в силах перевезти из Старой Деревни на Оренбургскую. Мы с Марусей позавидовали Алексею Ильичу, как он свободно живет в смысле питания и не чувствует никакого голода, вид его гораздо лучше, <чем> до военного времени. Мы с Марусей хорошо у него покушали, но голодному человеку все равно мало.

27/І-42 года

Полина поругалась с отцом, если бы я не встал посреди их, отец ударил бы Полину. Ссора получилась опять на почве голода. Полина упрекнула его, что он лазит по кастрюлям и украдкой от нас съедает лишнее. Голод и нужда во многом выявляют отношения людей, их корыстные цели, жадность, жульничество, в общем, идет борьба за существование. Не помню, какого числа Маруся пришла от Кости, и как обычно, принесла хлеба и масла. И когда Полина с Марусей стали этот паек делить на четверых, то отец сказал: «Зачем вы делите на четыре пайки, ведь Володя для нас чужой человек». Это было сказано без моего присутствия, мне Маруся об этом после рассказала, но эти слова характеризуют борьбу за существование жизни, тогда, когда я приносил отцу табак, папиросы, когда делили на всех мою дуранду, клей и другое, то отец видел во мне родственника. Но я на него не обиделся, хотя он и стар, но он также хочет жить, как и я.

30/І

Отец свалился окончательно, очень ослаб. К его несчастью, Рита утащила у него пайку хлеба. Я боюсь за отца, что он не выживет, поддержать его абсолютно нечем.

В соседней квартире дети и жена Уколова находятся также на грани смерти, дети непрерывно плачут и просят хлеба, сама Зина лежит в постели и от слабости не в состоянии встать, у нее утащили карточки, и теперь, безусловно, она должна помереть, ибо путей к существованию у нее нет. Практика показывает, если у человека украли карточки, то этот человек помирает. Сегодня Маруся ходила к ней, картина очень страшна, она лежит в постели в запачканном белье, у нее дизентерия, дети такие же грязные валяются у нее в ногах, в комнате душный, спертый воздух, нечем дышать. Таких Уколовых семей очень много, и все они обречены на смерть.

2/ІІ-42 года

Отец с каждым днем все слабнет и слабнет, с постели не встает, ходит под себя. Мне обидно на Полину, отец почти перед смертью, и она с прошлой ссоры не хочет заговорить с ним, все злится на него. Мы с Марусей делаем для него все, что можем, он нами весьма доволен и от удовольствия иногда заплачет.

Зина Уколова умерла, но это так и должно случиться. Детей, наверное, отправят в детский дом, но они настолько истощены, что мало вероятности, чтобы они могли выжить.

4/II-42 года

Сегодня радость сочеталась с горем. Маруся ходила на почту и там узнала, что та местность, где находятся наши дети, освобождена от немцев (район окружения 16 немецкой армии). Тогда она сразу посылает телеграммы на адрес матери, на сельсовет и райсовет. Приходим мы с завода, и от радости она говорит отцу: «Папа, мы скоро увидим маму, их местность освобождена от немцев, и я послала телеграмму». Отец на эти слова ответил: «Видно, мне не видать моей старухи», – в это время он сидел на койке. И после этих слов со слезами повалился в постель и закатил глаза. Я вижу, что отец помирает, но не говорю об этом Марусе и Полине, которые сидели у печки. Я потрогал у него пульс, сердце, но оно уже не билось, тогда я посмотрел на часы, было 16 часов 50 минут, и сказал Полине с Марусей, что отец умер. Из нас никто не заплакал, не потому, что нам не жаль отца, а потому, что мы сами близки к этому. В нашем доме в день выкидывают по нескольку трупов, на улицах везде и всюду валяются трупы.

У Полины пухнут ноги и лицо. Обстановка очень страшная. Не успели похоронить брата, как скончался отец. Вот мы сидим у койки отца, и у всех у нас одна мысль: «Скоро и моя участь будет такова».

Надо отметить, что особенно смертность возросла в последних числах января и в первых февраля, потому что с 27 по 30 января хлеба не выдавали совсем, в булочных стояли большие очереди целыми сутками, а хлеба не привозили. Нас в эти смертные дни поддержал Костя. Маруся ходила к нему и принесла от него хлеба. Если бы не Костин хлеб, мы были такие же покойники, как многие другие.

7/II-42 года

Ходили в Новую Деревню, хотели заказать отцу могилу, но очень дорого берут, 800 грамм хлеба. Решили похоронить в общей могиле. На кладбище творится кошмарная картина. Трупы валяются сплошными штабелями, закапывать их никак не успевают, хотя по уборке трупов работают два района, Петроградский и Приморский. И притом же траншеи готовят воинские части, которые взрывают мерзлую землю, а экскаваторами роют после взрыва. И то при такой организации не успевают хоронить. На кладбище везут мертвых сплошной вереницей.

Дома отец лежит на столе, в хорошем костюме, можно сказать, по всем правилам. Гроб Полина заказала по месту работы отца, обещают сделать к 9/II. Купить гроб тоже невозможно, все надо платить хлебом и табаком.

10/II-42 года

Утром все трое отвезли отца на кладбище. Привезли его и поставили около регистрационной будки. Тут, оказывается, всех мертвых вынимают из гробов и волоком за ноги или руки таскают в общие траншеи, а гробами топят печки. После мы пошли к Сергею на квартиру и привезли от него кое-что по мелочи. На Полину эти похороны подействовали, она всю дорогу все плакала. Или она плакала еще потому, что перед смертью отца все же она не помирилась с ним и не попросила у него прощенья, и ей, очевидно, тяжело от этого было. Да Полине и так в жизни тяжело. Она потеряла мать, сына, от мужа нет известий с сентября месяца. Все эти переживания сказываются на нервной системе.

Возвращаясь с кладбища, мы попали под сильный арт<иллерийский> обстрел. И, что характерно, на этот обстрел народ нисколько не реагирует, не прячутся от снарядов. И у всех, кажется, одна мысль: «Убьют, так черт с ним, скорей отмучаюсь».

13/II-42 года

Завод все так же «мертв», все оборудование законсервировано. Я с группой рабочих хожу на расчистку трамвайных путей, а трамваи все так же стоят и стоят. В городе все мертво, так же все не работает водопровод, нет свету. На улицах народ бродит единицами, и тот полумертвый. Сегодня на заводе получил 6 плиток столярного клея, это большая подмога, да притом мы имеем лишнюю карточку отца. Так что жить немного стало легче. На отцову карточку я в столовой беру супа, а на свои выкупаем в магазинах. Но обеды доставлять представляет большие трудности, по талону дают один обед, а мне надо брать 3–4 супа. Так что талоны приходится покупать, платить за них по 5–6 рублей.

20/II-42 года

Начальник цеха Атаян в большом секрете собирается эвакуироваться, чем он весьма доволен. Но я также доволен, что он уезжает, хоть одним идиотом меньше будет. Начальником цеха остается Слатин.

Смертность все продолжает расти, бомбоубежище переполнено трупами. Из цехов ежедневно, как крыс, выкидывают мертвых, особенно мрут бывшие ученики ремесленного училища, за которыми некому смотреть. Они ходят грязные, рваные, вшивые. Хлеб съедают на 4–5 дней вперед, а потом неминуемо помирают.

28/II-42 года

Последний день месяца, оставшиеся в живых рабочие приходят за продуктовыми карточками на март месяц. А если кто не пришел получать карточки, того, значит, нет в живых. Вот Федя Семенов настолько ослаб, что сам не мог прийти на завод, его привезла жена на санках до завода. Он похож на полумертвого человека. Мне его очень жаль. Как на грех, у него сегодня в столовой вырезали лишней 50-граммовый талон на мясо.

Не пришли получать карточки из моих рабочих следующие товарищи: Вася Иванов, Овчинников, Комаров, Федотов. Я думаю, они, наверное, больше не придут за ними никогда.

5/III-42 года

При заводе с 1-го числа сего месяца открылся стационар на ограниченное количество мест, всего 35 человек. Прикладываю все силы, чтобы попасть в эту столовую. Март для нас голоднее, чем февраль, ведь в феврале мы имели лишнюю карточку, а в марте придется сидеть на голом пайке. Целыми днями живем одной мыслью, как бы только наесться досыта. Ведь ходим с голодными желудками. Недавно в нашей столовой давали без вырезки дрожжевой суп, это такой суп, что его и свиньи не стали бы есть, а мы брали его в драку. Я съел 4 порции, после чего меня сильно рвало, я думал, не выживу. Холода все стоят ужасные – 25–30°, нисколько не чувствуется наступление весны. А народ ждет тепла, «как ворон крови». При теплой погоде хотя бы вымыться можно было, а то отдельные люди всю зиму не мыли лица. Бани не работают в течение всей зимы, так что мыться негде.

9/III-42 года

Смертность сравнительно с январем-февралем месяцем сократилась, но на улицах и дворах все так же валяются трупы. Народ на трупы смотрит как на обычное явление. Одних мертвецов засыпает снегом, другие валяются на вновь выпавшем снеге.

Когда по улицам бегали собаки, то я часто видел человеческие трупы, объединенные собаками, как это было в январе на Гарднеровском переулке, на Астраханской улице. Но сейчас во всем городе я не вижу ни собаки, ни кошки, они съедены голодными людьми. Я уже писал выше, как нас Сергей накормил кошачьим мясом. Не то, что в городе не видно собак и кошек, но даже не видно никаких птиц. Вообще, город вымирает. На улицах встречаются только люди-дистрофики. Вот в выходной день я прошелся по некоторым улицам и ужаснулся, насколько разрушен город. Разрушения шли по трем видам:

а) от воздушных налетов авиации;

б) от артиллерийского обстрела;

3) от пожаров, которым способствовало само население, т. к. в квартирах и комнатах отопление шло печками-временками, вот от этих временок и происходили большие пожары. Как, например, от такой причины выгорел весь студенческий городок Индустриального института.

14/III-42 года

Вчера в цеху в инструментальной кладовой умер парторг цеха, инженер-конструктор Иванов. Из кладовой его выбросили в цех к станку «Черчилль», где он лежит вторые сутки. Жена его не берет хоронить. Характерно то, что Иванов три дня тому назад оформил расчет и должен был ехать с Сашей Ефремовым в Тихвин на партработу, чему они оба были очень рады и говорили, что они от смерти уже спасены. Но вот Иванов до этого счастливого дня не дожил. А сегодня вечером я узнал, что и Саша Ефремов тоже умер, сидя со всей семьей на чемоданах.

За весь этот голодный период нет человека, который бы не болел той или другой болезнью, отдельные люди болеют все лето, осень, зиму, как, например, Коля Кромчанинов, Саша Кузьмин, Саулина. На работу ходили зимой по 30–40 чел<овек> на заводе, а численность более 1000 человек. Не болели в течение этого голодного периода только два человека во всем заводе – это я и Сипигин Коля.

11-го числа с<его> м<есяца> с Чистовым пошли к Скатину и просили у него, чтобы он оказал нам чем-нибудь помощь. У него была в <нрзб.> мука, не розданная рабочим, которых уже не было в живых. И вот я получил 200 грамм за умершего Федотова, а Чистов за умершего Ракова. Все, что бы я ни получал в заводе, ни покупал бы у ребят, я старался нести домой, в свою семью и не мог съесть один, ибо знал, что Маруся с Полиной так же голодны, как и я. Они со своей стороны делали то же, что бы ни доставали, несли домой. Вот так мы и поддерживали друг друга.

21/III-42 года

Я хожу питаться в стационар, теперь я там поправлюсь, паек тот же самый, но питательнее. Сегодня меню было такое: 1. тарелка овсяного супа, 2. пшенная каша весом 160 грамм и 3. стакан компота. 200 гр. хлеба – это обед. Ужин: котлета 50 гр. и каша 140 гр., хлеб 150 гр. завтрак: каша 180 гр., масла 20 гр., хлеб 150 гр. Притом же Костя прислал нам конины около 10–12 кг, а это большая для нас подмога. Вечером варим из конины котлеты. Мне кажется, что Полина мною недовольна, почему я еще питаюсь дома, когда карточки я сдал все в столовую стационара.

Работаем все так же на улице, расчищаем трамвайный путь на Лесном пр. от Лиманского до Нейшлотского пер. Работа очень тяжелая, да притом же очень холодно.

25/III-42 года

Весны не чувствуется, холод ужасный – 20°. Сегодня отпустил свою бригаду с работы на 15 минут раньше, за что получил от Слапина в приказе по цеху выговор.

Полина прикладывает все усилия, чтобы эвакуироваться из Ленинграда, она боится, что весной начнется какая-либо эпидемия от валявших<ся> трупов и от всех нечистот. Мы с Марусей об эвакуации не думаем, нас держат дети, о которых мы не забываем ни на одну минуту.

Последние дни в городе происходит большая эвакуация. Народ на санках с большими узлами целыми вереницами в течение дня тянется к Финляндскому вокзалу, а отсюда на поезде до Ладоги, а от Ладоги по льду на каком-либо другом транспорте попадают на «Большую землю». Но не каждый в пути выживает. Вот в первых числах марта из нашей квартиры в административном порядке эвакуировали Екатерину Андреевну с Сашенькой. И вот Сашенька прислала письмо, что мать умерла в дороге. В связи с большой эвакуацией у меня создается впечатление, что как вроде город хотят сдавать. Эвакуируют также заводы и другие организации и учреждения.

30/III-42 года

Полина подготавливает все документы к эвакуации, спешит как можно скорее уехать, ходят слухи, что эвакуация происходит до 10/IV. Сегодня узнал, что умер Зуев, который работал у меня слесарем. До этого он окончил Промакадемию им. Сталина, но инженером поработать не пришлось. Он всячески старался уехать из Ленинграда к своей семье и всегда меньше думал о работе, а только о своем желудке и только его можно было видеть в столовых или на рынках. Но как он ни боролся со смертью, но побороть ее не мог.

Со стационарного питания сегодня меня сняли.

Вечером ходили все трое в театр «Александринский», смотрели оперетту «Свадьба в Малиновке». В этом театре на спектакле присутствовали партизаны, которые доставили в Ленинград на лошадях продукты.

4/IV-42 года

В 6 часов утра был сильный налет на город, зенитная артиллерия в течение 40 минут вела непрерывный огонь, дома содрогались от зенитного обстрела и рушились от сброшенных бомб.

Это самый сильный налет после зимнего и весеннего перерыва. Правда, в течение всей зимы мы подвергались также сильным арт<иллерийским> обстрелам, от которых были большие разрушения, а еще больше людских жертв. В один из таких обстрелов попал старший мастер токарного участка Лобачев, не успел он спрятаться в траншею, как ему осколком снаряда оторвало ногу. И вот он теперь навеки инвалид.

Сегодняшний налет на город еще больше оживил народ на эвакуацию. Пережив в прошлом большие налеты и бомбежки и спасая свою жизнь в бомбоубежищах и траншеях, народ больше не хочет этих страстей переживать.

8/IV-42 года

На улицах слякоть, идет сырой снег, пассажиры на санках спешат на вокзал. И мы все трое с большим багажом на санках плетемся к Финляндскому вокзалу провожать Полину. Сегодня последний день эвакуации. На вокзалах тысячные толпы, с детьми, со стариками, инвалидами, на поезд нет возможности сесть. В залах, на перроне, на площадках – везде можно увидеть умирающих или умерших трупы.

Уезжающим выдают на день по килограмму хлеба. Полина без очереди получила свой паек, дала нам с Марусей по куску, который мы съели с жадностью. Посадку на поезд производили чуть ли не войной, в двери пройти невозможно. Мы с Марусей после не могли выйти из вагона, а Полина не могла войти в вагон. Посадить Полину нам досталось больших трудностей.

Во время отъезда я на Полину был обижен. Она имела некоторые продуктовые талоны от карточки, и я полагал, что она отдаст их нам, а мы за это потом вышлем ей деньги, так как у меня в это время не было ни копейки, мы истратили перед отъездом на покупку табаку и папирос для Кости. Полина за эти талоны спросила с нас 1000 рублей, т. е. за 200 гр. масла, 300 гр. сахара, 200 гр. мяса, 400 крупы. Тогда я стал искать эти деньги у ребят за з<аво>де, но найти не мог. Маруся пошла на з<аво>д Энгельса к Ильичу и у него достала 1000 руб., которые и заплатили Полине. Вот как в тяжелый период жизни нарушается родственная связь. И так нас родных в Ленинграде остается все меньше и меньше, одни умерли, другие эвакуировались, а третьи собираются эвакуироваться.

14/IV-42 года

Сегодня выходной день, рано утром по морозцу ездили в Лесной, откуда привезли на санках дров. По дороге встретили жену Миши Шевелева, которая сообщила нам о смерти Михаила. Знакомых становится все меньше и меньше. Ждем писем от Полины, беспокоимся за нее, как она переехала через Ладогу, это самый трудный путь, где эвакуирующие<ся> бросают свои вещи, а зачастую кладут свою жизнь.

На улицах и на дворах появляются «подснежники», не убранные ранее трупы, а сейчас оттаивают из-под снега. Решением Ленсовета все население мобилизуется на уборку улиц, дворов и общественных мест. Ведь цветущий город Ленина утонул в грязи, залит помоями, нечистотами и всяческой заразой. Если это все не уберут в ближайшие дни, то в городе может царить какая-нибудь эпидемия.

21/IV-42 года

Усиленно занимаемся уборкой снега на пр. Карла Маркса около з<аво>да. Работой руководят Колесник, Воробьев и я. Работа весьма тяжелая, но все же работать уже легче, чем это было зимою.

Вчера приходил к нам Костя, как обычно принес свой паек, благодаря которому мы были сыты целый день. Только тогда мы с Марусей и бываем сыты, когда к нам приходит Костя или когда Маруся приносит от него что-либо съестное. В этих строках почти на каждой странице я хотел бы отметить чуткое отношение, большую заботу, проявленную к нам со стороны Кости. Он в ущерб своему желудку отдает нам свой паек. Вот как люди узнаются в нужде. В тяжелый период жизни Костя нас не покинул, а подчас спасал нашу жизнь.

27/IV-42 года

Работу производим по очистке от нечистот набережной около Сампсониевского моста. Работать противно, раскапываем кучи, в которых находится всякая зараза: и человеческие части

тела, и дохлые кошки и собаки, и перевязочные вещества из госпиталей. В общем, на этой работе нетрудно подхватить любую болезнь. После такой работы хорошо бы сходить в баню, но бани все законсервированы в течение всей осени, зимы и весны.

Сегодня узнал, что умер мой работник Субботин Миша. Как люди не борются с голодом, а все же побороть его не могут, все так же народ мрет, хотя паек и увеличили, получаем: 500 гр. хлеба, 1500 гр. круп, 1500 гр. мяса, 900 гр. масла, 900 сахара, но этот паек для дистрофиков очень мал.

1/V-42 года

Получили на праздник: 0,5 лит. водки, 300 гр. селедки, 100 гр. сыру, 200 гр. сухофрук<тов>, 25 гр. шоколаду.

Сегодня радостный день, во-первых, великий праздник, во-вторых, начал работать завод, это все же лучше, чем работать по уборке улиц, и, в-третьих, меня с Марусей зачислили в столовую повышенного питания, где мы сегодня уже питались.

Вчера на глазах у рабочих на почве голода сошел с ума медник Раков. Его отнесли на носилках в больницу им. Карла Маркса. Завод начал работать, а рабочие почти все вымерли, работать не с кем.

10/V-42 года

От Полины получили письмо, остановилась она в Галичах, в Боровичи ее не пустили. Пишет, что она уже поправилась, приняла нормальный вид, прибавила в весе на 8 кг.

Работаем на заводе по 12 часов, с 8 до 20 часов, без выходных, очень устаю, так работать невозможно, я считаю, это наивысшая эксплуатация.

Раков, которого отнесли в больницу 30 апреля, умер. Интересно отметить то, что Мария и Шура с Настей как уехали из Ленинграда, не прислали ни одного письма нам, или они нас считают уже умершими, или забыли о нас. Но я считаю их идиотами высшей степени, в такой тяжелый жизненный период забыть своих родных. Вот мама и Клава в своих письмах разделяют с нами все наши невзгоды, сочувствуют нам в потере наших детей, вдохновляют нас на борьбу с трудностями, за что я им весьма благодарен.

20/V-42 года

Город все так же часто подвергается арт<иллерийскому> обстрелу, особенно район Финляндского вокзала. Снаряды с визгом и с жужжанием пролетают мимо нас, но мы к ним относимся безразлично, за период обстрелов, налетов, пожаров, великого мора народ стал безразличен ко всему. Вот народ как привыкает ко всем страстям. Если летом и осенью объявлялась воздушная тревога, то народ в панике прятался в траншеи, во дворы, в парадные, а теперь радио извещает, что район подвергается арт<иллерийскому> обстрелу, предупреждает, чтобы граждане прятались в убежище. Но не тут-то было, народ закалился, не боится смерти и спокойно идет своей дорогой под звук и разрыв снарядов.

На заводе вместо ППД делаем тралы, я считаю, что это неправильно сменять такое вооружение как автоматы на тралы, тем более что на освоение автоматов было много затрачено сил, а теперь надо осваивать новый вид продукции.

На заводе проходит кампания о приобретении каждым рабочим своего огорода, но когда эти огороды обрабатывать – не имею понятия, ведь работаем по 12 часов, не имеем выходных, это очередная болтовня общественных организаций, которые злят своей агитацией рабочих.

25/V-42 года

Узнал от Царева, что умер Николай Томашевский 14 мая с. г. Очень сожалею, что в лице Томашевского потеряли лучшего работника и неплохого товарища.

Надо отметить, что с открытием столовой усиленного питания, куда ходят основные рабочие, народ стал выглядеть гораздо лучше.

Встретил Федю Карпова, он уже стал инвалид II группы, собирается эвакуироваться, выглядит он очень плохо. В течение всей зимы он болел.

За эту зиму завод и цех потеряли лучшие производственные кадры, «золотой фонд», который надо было сохранять как зеницу ока, но в тот период эти кадры никому были не нужны, подчас администрация и не знала, кто у них жив из кадровых рабочих.

А сейчас приходится работать с учениками 14–16-летними и домохозяйками. Эти «рабочие» так за день меня выматывают, что я стал не человеком. С рабочими я стал груб, с администрацией ругаюсь. Маруся не понимает моих трудностей и также не создает дома мне отдыха, а больше меня злит и нервирует. Почти постоянно я хожу с головными болями. Дома стараюсь больше молчать, в этом нахожу некоторый отдых. Если в ближайшее время меня не освободят от мастеров, то я буду не человеком, а психом.

29/V-42 года

В городе начинают открываться кинотеатры. Открылся театр «Молния», «Колос», «Трам».

Сегодня приехал Костя. После хорошего обеда мы с ним ходили в кинотеатр «Трам», смотрели кино «Ленинград в борьбе».

Вот уже как две недели начали ходить трамваи, функционируют бани. Город начинает понемногу оживать вместе с природой.

Антонина лежит вот уже третий месяц, у нее цинга на ногах. В конце апреля месяца Маруся отняла у нее Риту и полумертвую отвезла в дет<ский> дом. Антонина, по-моему, хотела умертвить Риту. Ведь последние месяцы она получала на Риту жульническим путем две карточки, одну на производстве, другую в жакте. Но Рите она не давала даже ее пайка. Последнее время Рита болеет дизентерией, и она ее не моет, не меняет белье. Я не видел в своей жизни таких матерей-варваров, которые умышленно умертвляют своих детей.

Теперь Рита находится в дет<ском> доме, хорошо выглядит. Маруся к ней ходила уже два раза, а Антонина не то что не ходит к ней, но даже не спросит про нее.

7/VI-42 года

Наш завод организует подсобное сельское хозяйство в Левашово, куда будет послано 100 человек рабочих, в том числе едет и Маруся. Итак, в течение всего лета я буду жить один в четырех стенах. Сейчас все рабочие занимаются организацией своих огородов, я тоже взял две грядки у Андреевой в Шувалове, после работы езжу копать свои грядки, домой приезжаю в 12 часу, утром вставать очень тяжело.

13/VI-42 года

9 июня Маруся уехала в Левашово, говорят, что они устроились жить хорошо. Живут трое в бане. А. И. Васильева, Валя Замораева и Маруся. Как только будет выходной, поеду к ней. Одному жить очень и очень скучно, не с кем словом обмолвиться. На работе только и забываюсь, когда беседуем с Людой. Она не чувствует во мне своего начальника, а я не чувствую ее своей подчиненной, работаем совместно, дружно и с полуслова понимаем друг друга. Вот у нее тоже несчастье, 5-го числа с<его> м<есяца> брата взяли в армию, хотя он дистрофик III степени, а его сразу погнали на передовую, и вот уже 11-го числа его ранило, оторвало правую руку. Мне не так жаль Костю, как жаль Люду за ее переживания.

17/VI-42 года

Посеял на своих грядках: свекла, салат, редис, репа, турнепс, морковь. Не знаю, дождусь ли своего урожая, думаю, растащат, не дадут вырасти. Разработка этих грядок досталась мне большим трудом, ведь с 8-ми до 20 часов работал, а после работы ездил копать. Если сохраню то, что посеял, то на зиму нам хватит, да Маруся немного привезет. Вот тогда, может быть, зима не будет такая страшная, как она была.

27/VI-42 года

Завод опять снимает оборудование и собирается эвакуироваться. Для меня никак не понятно, что только делается, ведь завод освоил новое вооружение, выпускает в массовом виде. И теперь срывают всю программу и весь личный состав занимается «ломкой» оборудования. Я работаю по снятию станков, скрепя сердце, чувствую, что это дела вражеской руки. Ведь наше оборудование не представляет никакой ценности, оно очень старое и изношенное. Да потом вижу такое

явление, станок сняли с места, а потом его тащат опять в цех и ставят на старое место, разве это не есть пример вредительства? Все общественные организации на это явление смотрят сквозь пальцы, никого это не беспокоит. Все занимаются погрузкой с большой охотой, ведь эти «грузчики» получают добавочный паек 400 гр. хлеба, 150 гр. каши, 10 гр. масла, 70 гр. спирта. За этот паек голодные люди могут гору свернуть. Вот за период войны во второй раз эвакуирую наш завод. Сейчас каждый старается эвакуироваться с заводом, особенно Воробьев, Пинтарев, Шнягшан и др.

На огороде посадил 100 корней лука, который не принялся, весь пропал, и 80 корней капусты, которая принялась хорошо.

2/VII-42 года

За последний месяц народ, чувствуется, окреп по сравнению с зимними и весенними месяцами. Во-первых, стало теплее и, во-вторых, много стали есть зелени, как то: крапива, лебеда, подорожник, щавель, да вообще все дикорастущие травы. Я никогда не думал, что можно по стольку съесть травы. Во всяком случае, съедаем не меньше любого животного. Вчера ездил к Марусе. Этот день у меня был настоящим праздником. Маруся живет гораздо лучше меня, у нее и молоко, и грибы, и щавель. Так что я наелся у нее досыта, до отвала. Ходил в лес, принес немного грибов, сварил их у нее и привез домой. Этот день был для меня настоящим выходным днем. А то все время работаем без выходных, да после работы едешь к себе на огород, там надо работать. Хотя теперь мне легче стало работать на производстве, меня перевели с работы мастеров на тиски, с работой справляюсь хорошо, работаю слесарем 7 разряда, выполняю любую работу. Так что и физически не устаю, и морально отдыхаю, и материально обеспечен лучше. Особенно в повышении заработка мне способствует Люда. Отношение ее ко мне стало еще лучше. Но отношение Колесника ко мне меня поражает, не стал разговаривать, старается сунуть плохую работу. Я думаю, что его злит мой высокий заработок и мое хорошее настроение. А вообще работать по 12 часов весьма тяжело, каторжный труд, да тем более при таком питании. Очевидно, история всю эту мучительную жизнь отомстит.

10/VII-42 года

Сегодня ушел третий эшелон с оборудованием и рабочими, в котором уехал Воробьев Михаил. Он у меня купил фотоаппарат за два кг овса, три мясных талона (150 гр.) и пять крупяных талонов (100 гр.). Но вот мясные и крупяные талоны отдал, а овса не принес, так и уехал. Вот до какой низости доходят люди, а ведь считался товарищем. Об этом случае я рассказал Владиславу, а он Колеснику, так как я с ним не разговариваю. Они осудили поступок Воробьева и хотят по получении адреса написать об этом ему.

Вот сегодня с кем бы я ни говорил из ребят, все пропитаны одной мыслью, как бы эвакуироваться из Ленинграда, не оставаться ни одного дня, тем более время идет опять к зиме. Только мы с Марусей не думаем ни о какой эвакуации, хотя я Марусе неоднократно говорю, чтобы она уезжала отсюда, тем более и Полина, и Клава пишут в письмах, чтобы она приезжала к ним. Но Маруся не думает уезжать, или ее держат дети, или она думает, что я могу без нее так же погибнуть, как и Сережа. И Костя тоже не советует ей одной ехать. Так что будем с ней переживать все трудности до победного конца.

Встретил Федю Карпова, он получил на медицинской комиссии инвалидность II группы. В ближайшие дни он тоже уезжает с последним эшелонem в гор<од> Уральск, но не с семьей, а один. У него в быту произошел странный случай. Очевидно, за последнее время они с Катей часто ругались. Ну, вот, 30 июня он приходит домой, дома сидит одна Рита, а Кати нет, она куда-то ушла. Он стал спрашивать у знакомых, что не знают ли они, куда ушла Катя. Вася Плеткин сказал ему, что вечером видел ее на Охтинском мосту. Как Федя ни старался ее найти, но все поиски оказались напрасны. Вот до чего голод доводит людей, что мать бросает своего ребенка на произвол судьбы. Так что Федя с Ритой в ближайшие дни уедет.

15/VII-42 года

Жить одному очень и очень плохо, приходит домой один, не с кем словом обмолвиться, нечего и некому приготовить покушать. Подчас сам стираешь, сам штопаешь, сам комнату убираешь. При такой жизни часто вспоминаю маму, как мы с ней просиживали целые вечера и

не могли наговориться, нашему разговору не было конца. За весь этот одиночный период я ежедневно посылаю кому-нибудь письма, правда, мои письма, наверное, не очень интересны, потому что они пропитаны тяжелой моей жизнью, и нет такого письма, где бы я ни писал об Алике и Юре. А такие письма, наверное, не совсем хорошо читать. В получаемых мною письмах от мамы и Клавдии они также разделяют вместе с нами нашу тяжелую утрату.

Вот уже полтора месяца, как у нас пропала куда-то Антонина, даже и не знаем, где ее искать. Последнее время она болела, не работала, возможно, она попала в больницу. Но это такой странный человек, что трудно ее понять. Понятно в ней только одно, что она живет не честным трудом, ворует как у чужих, так и у своих, не считаясь ни с чем. Вот Вера Михайлова говорит нам, что она недавно видала Тоську, стоявшую у булочной и продающую подушки. Мы с Марусей подумали, какие же она продавала подушки. Оказывается, она взяла наши подушки, которые находились в сундуке на кухне, и продала. Вот за все ее такие поступки ей не хочется оказывать помощь. В течение летнего периода ленинградцы не переживали воздушных бомбардировок, как это было осенью прошлым годом. Ну, зато часто подвергаемся артиллерийским обстрелам, а это еще страшнее. Когда объявлена воздушная тревога, то ты знаешь, что надо бежать в щель или в бомбоубежище. А вот арт. обстрелу подвергаешься совсем неожиданно, в результате чего бывают большие жертвы.

Хотя лето в разгаре, но теплой погоды мы еще не видали, зачастую ходим в осенних пальто, купаться даже и не думаем. В моей жизни это проходит первое лето, что я ни разу не купался.

17/VII-42 года

Работа идет своим чередом, я стал более спокоен, ничто меня не тревожит, работаю тихо, спокойно на верстаке. После работы ходил на огород, полел свеклу, турнепс, капусту. Хорошо растет редис, но его воруют, следить за огородом некому. Сегодня первый раз кушал редиску со своего огорода. Вчера днем меня вызывали в отдел найма, в особый отдел, где со мной беседовал представитель «большого дома». Беседа происходила для меня совсем непонятно, но чувствую, что хотят куда-то послать работать. Завод продолжает погрузку оборудования для эвакуации. Вечером был у Алексея Ильича, он работает комиссаром на оборонных работах, жалуется на свою жизнь, но его жизни можно позавидовать по сравнению с нашей. Во-первых, он абсолютно сыт, мы почти каждый день голодны, у него хорошо обеспечена семья, у нас же семья потеряна, начиная с детей и кончая матерями, он жалуется на свое здоровье, у меня же оно не лучше, температура доходит до 34,5–35°, часто болею желудком, ведь питаюсь почти одной зеленью. Вот такое сравнение нашей жизни по отношению к Алексею Ильичу. И что меня особенно возмущает, что он проявляет ревность по отношению к Клавдии.

23/VII

На производстве обязывают сочетать производственную работу с работой мастера, от чего я категорически отказываюсь, но сие от меня не зависит. После работы опять вызывали в отдел найма, где продолжали начатую в прошлом беседе. Теперь я понял, что от меня хотят. Но во всей этой беседе у меня крадывается какое-то сомнение, о чем хочу поговорить в ближайшее время с Костей, он больше компетентен в таких вопросах. Одним словом, можно сказать, что в лице меня они нашли дурака. Эвакуация завода закончена, цеха приступают к нормальной работе. На заводе осталось три основных цеха: I цех – механический, где начальником назначен Балашов, а Слатин назначается начальником производства завода, IV цех сборочный, где начальник А. П. Киселев, VI цех – горячий, где начальником назначен Н. А. Воронцов, и ряд вспомогательных отделов.

1/VIII-42 года

Балашов приступил к своим обязанностям, меня и Владислава назначил временно исполняющими <обязанности> мастера: Владислава токарным участком, меня слесарным. Я приступил к этой работе с неохотой, опять придется нервничать, ругаться.

Сегодня утром услышал от ребят, проживающих в поселке, что Соню Ефремову поймали в воровстве, она утащила в своем жакете восемь продовольственных карточек, и, кажется, ее привлекают к ответственности. Воспользовавшись этим случаем, я в обед поехал к ней и стал ее запугивать в том, что я тоже подаю на нее в суд, если не отдаст моих вещей, а, кроме меня, и

другие соседи тоже подают на тебя. Тогда она мне говорит: «Володя, ради бога, не подавай на меня в суд, я тебе верну все вещи, которые не я украла у тебя, а покойник Саша. А у других я ведь ничего не воровала, вот если только у Саталиных я утащила пальто и костюм». Я сказал ей, что если вернет мне мои вещи, то тогда я эти дела замну. И она мне вернула только два костюма и резиновые сапоги, а остальное все прожила, да и то в костюмах вырван весь поднаряд. Эти костюмы Саше были малы, но они и вырвали все нутро в них, чтобы сделать их пошире. Вообще Соня оказалась квалифицированным жуликом, но ей ничего не пошло впрок.

7/VIII-42 года

Вечером приходил опять ко мне этот представитель из «большого дома», долго со мной беседовал, читал мне инструкции. Но это мне все не нравится, я чувствую, что меня впутывают в грязное дело, играя на моих чувствах, на том, что дети и мать мои находятся на оккупированной территории. Тогда, когда зимой я был так же, как и брат, на грани смерти, то я никому не был нужен, а теперь я оказался нужен. Но я не хочу этого, я хочу жить так, как мне хочется, а не так, как мне велят. Тем я и испортил свою жизнь, что, находясь в партии, я жил только ее указаниями, ее директивами.

10/VIII-42 года

Вчера вечером приехала Маруся, привезла три литра молока, щавеля и хлеба 200 гр., который купила за 110 рублей. Вечером после работы поехали к Косте. В основном я пошел к нему, чтобы выяснить мои вопросы, ибо только ему я мог открыть мои тайны, так как за последнее время мы с ним были весьма откровенны. После непродолжительной нашей беседы он высказал мне свои мысли и сказал, что поговорит по этому вопросу с комиссаром части. У Кости мы сытно покушали, съели с Марусей котлетки с маслом. Съели много, но сытости не прибавилось, голодный желудок трудно наполнить. К нам также хорошо относится его повар.

13/VIII

Вчера вечером приходил ко мне опять этот «представитель», но уже не для беседы, а для составления следственного акта. Оказывается, после того, как я побеседовал с Костей о всех моих делах, после моего отъезда он позвонил комиссару, а на другой день поехал к нему, где передал ему мой разговор и мои сомнения в данной организации. Комиссар тут же позвонил в «большой дом», навел кое-какие справки. Ну, конечно, после этого сразу ко мне послали этого представителя на дом. Вот этот представитель всячески запугивал меня судебными органами, преданием меня суду за разглашение тайны. Но меня этим не запугаешь, ибо после перенесенных всех моих трудностей мне ничто не страшно. А вообще настроение мне здорово испорчено.

16/VIII

Днем приехал ко мне Костя, с обеда я ушел с работы. Придя домой, я первым делом принялся за приготовление обеда, так как Костя принес 150 гр. мяса, 300 гр. крупы, 400 гр. масла, две буханки хлеба. Это был для меня великий праздник. Мы хорошо с ним покушали, после чего пошли в кинотеатр. Но в кино не попали, а попали в сад пионеров, где смотрели оперетту «Морской волчонок» при участии артистов Музкомедии Брянской, Руликовской, Коскузовской, Богданова, Пельтцер. До начала спектакля мы видали, недалеко от нас пикировал немецкий самолет и бомбил город. После спектакля Костя остался ночевать, а рано утром уехал на велосипеде.

19/VIII

Вчера я с работы поехал к Марусе, отвез ей полбуханки хлеба и масла, хорошо у нее отдохнул, во-первых, она питается гораздо лучше меня, молоко пьет. Если бы так питаться, как Маруся, то жить было бы легче. Вот Маруся сегодня была свидетельница, как меня целый день рвало. Когда вечером мы пошли с ней в деревню за молоком и овощами, то по пути меня раз десять рвало, и я еле дотащился до Марусиной бани, где и остался ночевать. Теперь решил лучше голодать, но меньше употреблять зелени.

24/VIII-42 года

Вчера ходил на свой огород. Все хорошо растет, но хорошему росту не дают созреть, все воруют. Много повыдергали свеклы, турнепса, моркови. Хорошо растет капуста, но я чувствую, что и капусту начнут скоро воровать. Все это очень жаль, ведь затрачено много трудов, для разделки этого небольшого огорода были положены последние силы, а вот попользоваться им не придется. Надо сказать, что в течение лета я много пользовался с него ботвою, как: свеклы, турнепса. Вот ведь на рынке вся эта трава килограмм стоит 25–30 рублей, а для меня все это бесплатно. Корнеплод маленькой морковки стоит 6 рублей, турнепса 100 рублей. В общем, цена на все овощи сумасшедшая, и дешевле вряд ли они будут, каждый старается все придержать к зиме, а зимой это все будет в три-четыре раза дороже. Я надеюсь на Марусю, может быть, она на зиму обеспечит овощами, ей там в подсобном хозяйстве больше возможности приобрести овощей. Но я сморю на нее, что она меньше беспокоится о запасе на будущее, а живет только сегодняшним днем. Если она меняет вещи в деревне, <то> все больше на молоко, яйца и меньше на овощи. Мне это не нравится, на мое усмотрение, надо бы менять больше на овощи и их беречь к зиме, «на черный день». Но меня она в этом отношении не слушает, делает все по-своему. 22-го числа был у Алексея Ильича. Он живет все так же хорошо. Угостил меня хорошим вином (ликер 60°), и закуска – свежие огурцы. Что меня удивило, это то, что он чай пьет внакладку, по старинке, да и сахару сейчас нигде не достать, а у него сколько угодно его. Он тоже боится оставаться этой зимой в Ленинграде и прилагает все силы к тому, чтобы эвакуироваться к семье. Но надо сказать, что здоровье его весьма слабое, если он будет голодовать так же, как и мы, то он не вынесет. Мы вынесли всю эту голодовку потому, что у нас здоровый был организм. Правда, у Сергея тоже был крепкий организм, а вот не вынес, и с прекрасными организмами помирили.

На производстве все так же работаем по 12 часов. Рабочие настолько переутомлены, что нуждаются в большом отдыхе, но его не видать так же, как не видать конца этой войне.

29/VIII-42 года

Вчера после работы ездил к Косте, отвез ему 275 граммов спирту и 200 граммов табаку. Хотел от него пойти к Марусе, но не мог, потому что утром не успею на работу. Пришел на вокзал, ждал поезда с 19 часов до 22 часов, но он так и не пришел. Оказывается, этот поезд за станцией Левашово попал под арт<иллерийский> обстрел, ну, и несколько вагонов разбило. Так что в этот вечер поезд не шел. И вот из Парголово до дома я шел пешком. Домой пришел в 1 час ночи, устал до невозможности. От Кости принес буханку хлеба, половину которой съел по пути. Вот лето почти что на исходе, а мы теплой погоды не видали. Почти в течение лета не снимали с плеч пальто. И природа-то идет против нас.

Антонина с мая месяца лежит в больнице, у нее в сильной степени развита цинга, вид у нее очень слабый. Тоже старается эвакуироваться. В общем, кого ни послушать, каждый старается удрать из Ленинграда. Так что можно себе представить, как народ боится оставаться здесь на зиму, переживать все такие страсти. Не хочу скромничать, но скажу прямо, что у меня нет желания уезжать отсюда, да и у Маруси такое же мнение. Может быть, нас держат дети, о которых мы не забываем ни на минуту, а с приближением холодов больше о них думаем. Да потом надо сказать, что наша тройца, Костя, Маруся и я, сжились так дружно друг с другом, что не хотим расставаться. Костя также не советует нам уезжать, он говорит: «Пока я здесь, буду вам помогать, чем только могу». Но и действительно он нам помогает. Как только чувствуешь себя плохо, так едешь к нему, а от него обязательно привозишь не меньше двух буханок хлеба и масла граммов 400. Масло нам отдавал он почти весь паек. Но я стараюсь отблагодарить его за поддержку нас этими продуктами. Я ему привожу табак, вот купил полтора литра водки, за что заплатил 1700 руб. Когда получаем водку в магазине, то стараемся угостить этим Костю. Все это отношение характеризует нашу взаимопомощь и взаимную поддержку.

4/IX-42 года

Вступаем в осенний период. Я прикладываю усилия обеспечить себя на зиму дровами. Вот напротив нашего дома ломают дом на дрова для больницы Карла Маркса, ну, вот, я от них и вору. Думаю, что дровами себя обеспечу, а вот другим чем, то нет. На огороде почти все утащили.

Ездил к Алексею Ильичу, он сильно болеет малярией. Предлагал ему переехать жить к нам, чтобы за ним было возможно ухаживать, но он категорически отказался. Я понимаю его, что у нас ему будет голодно, в этом отношении мы ему помочь не можем. Иногда Маруся ему привозила молока. В общем, чем можем, тем помогаем. Мы за всеми следим, по возможности помогаем.

Идешь по улице, а над тобой со свистом летят снаряды, невдалеке от тебя рвутся, убивают твоих товарищей. И на все это зрелище не обращаешь никакого внимания, потому что все зачерствело в душе, думаешь только об одном: «А как бы утолить голод». И вот эта мысль отталкивает все остальные мысли, и нет никакого страха к смерти.

10/IX-1942 года

Ездил к Марусе, у нее почти не отдыхал, ходил в лес за грибами, много потратил времени и домой вернулся с пустым мешочком, грибов почти нет. Может быть, они есть, да грибников в лесу больше, чем грибов. Маруся жалуется, что ей тяжело работать в хозяйстве, она действительно плохо выглядит. Старается всеми силами уехать оттуда. Дома ей было лучше, да и мне с ней легче было бы, вообще вдвоем жить легче и веселее, есть с кем поговорить, посоветоваться, а то живешь один как крот.

Завод им. Энгельса эвакуировался в Коломну, расположился там на граммофонной фабрике. Алексей Ильич прикладывает все усилия, чтобы уехать туда, и он, наверное, уедет, потому что его состояние здоровья весьма плохое, а лечиться здесь нет возможности, нет никаких медикаментов.

Народ усиленно запасается на зиму всей возможной зеленью – ботвой. Я думал, что к осени ближе будут дешевле какие-нибудь овощи, но, оказывается, они так же дороги, как и летом, килограммом ничего не продается, а штучно стоит одна турнепсина 30–35 руб. Так что о заготовке овощей на зиму говорить не приходится. Вот мне Павлов носит понемногу ботвы от турнепса, свеклы, моркови. Ну, я ее рублю и засаливаю. Как будет выходной день, поеду за город и буду искать грибы. Ребята покупают их по 100 руб. за мешок.

19/IX-42 года

Марусе удалось вырваться из подсобного хозяйства. И вот мы опять теперь живем вместе, она будет работать в ОТК. Приходил Костя. Ну, с его приходом у нас бывает праздник, на столе появляется обед и хлеба вдоволь. Вечером он ходил с Лелей Болтрук в театр. После театра они зашли к нам, поужинали, и Костя уехал к себе, а Леля осталась ночевать у нас. Ее нахальное поведение меня начинает возмущать, но сказать свое мнение Марусе я не могу, все же она Марусина подруга.

На заводе все так же работаем напряженно, без выходных. Администрация ни с какими требованиями рабочих не считается. Если честный работник заболевает, уходит по бюллетеню, то на этого работника смотрят как на халтурщика, лентяя. Вот, например, болеют Корничкин и Финкельштейн, это одни из честных работников, и все равно их Балашов называет дезертирами производства. А вот Саулиной он обещает выдать на следующий месяц карточки II категории за то, что она часто гуляет по бюллетеню. А у нее действительно положение тяжелое, то она сама болеет, то у нее ребенок болеет. Так что работникам, часто болеющим, нет никакой помощи, а есть только проклятие.

30/IX-42 года

Жизнь идет по-старому, хотя с Марусей иногда и ссоримся, но все же вдвоем жить лучше, а главное дело – сытнее, ссоры и получаются больше все на почве голода, когда человек голоден, то с ним и разговаривать невозможно.

Вот сегодня Маруся с Лидой ездила в деревню менять вещи на продукты. Хотя и жаль отдавать хорошие вещи за бесценок, но делать нечего, лишь бы сохранить жизнь. Маруся привезла картошки, капусты, моркови и молока, всего понемногу, но у нас это потянется надолго. На пути они у военного купили дамские ботинки за 300 рублей, тоже думают сменить на продукты. Так что сегодняшняя поездка у них удачная.

Антонина находится в инвалидном доме, о Рите она совсем не думает, как вроде она и не считает ее своим ребенком. Она думает, раз Маруся ее отправила в детский дом, то пусть она беспокоится о ней.

12/X-42 года

10-го числа с<его> м<есяца> Алексей Ильич эвакуируется в Коломну, где находится завод Энгельса. Он сперва думает поехать к своей семье, а оттуда потом в Коломну. Мы полагали, что когда Алексей Ильич будет уезжать, то он нам отдаст овощи со своего огорода, но он их, наверное, отдал кому-нибудь другому. А также и продовольственные карточки тоже кому-то отдал. Так что в этом отношении он нам ничем не помог. Да вообще мы с Марусей и надеемся только на помощь Кости, который последним куском делится с нами. Теперь нас осталось в Ленинграде трое, эта троица будет здесь находиться до победного конца. После эвакуации Алексея Ильича мы с Марусей твердо решили, что никуда отсюда не уедем, пока силой нас не вышлют да если меня в армию не возьмут. Костя разделяет с нами это мнение.

9-го числа приходила Леля, ну, как обычно она осталась у нас ночевать с тем условием, чтобы поужинать у нас вечером, а утром позавтракать, иначе говоря, пропитаться чужим куском. Ну, а в силу нашей вежливости мы с ней делимся последней крошкой. Она договорилась с Марусей, что может сменить ботинки, которые они купили с Лидой, на продукты, т. е. за 2 кг крупы, 600 гр. мяса и 30 гр. масла. Маруся согласилась и отдала ей ботинки. Но мне кажется, Леля сделает с ботинками так же, как сделал со мной Воробьев Миша, который взял у меня фотоаппарат, а продукты не отдал.

Сегодня был сильный арт<иллерийский> обстрел района Финляндского вокзала. Снаряды со свистом пролетали над нашим домом, и казалось, что малейший недолет, и снаряд упадет на наш дом.

20/X-42 года

В течение последних дней усиленно производил заготовку дров на зиму, дрова в зимний период нужны так же, как хлеб. Так что можно сказать, что дров на зиму хватит. Рабочие в выходной день ездят на сломку домов, и по решению Ленсовета каждый рабочий должен заготовить 2 м³ для производства и 2 м³ себе. Ломка домов идет самотеком, ломают и старые, а также и новые дома. Создается такое впечатление, как будто хотят снести с лица земли весь город.

18-го числа с<его> м<есяца> на з<аво>де был общезаводской субботник, воздвигали баррикады на улицах Боткинской, Клинической и пр. К. Маркса. На эти улицы возили резервуары с Сахарного переулка.

В общем, наш район так забаррикадировали, что он похож стал на крепость. На каждой улице баррикады, и в каждом доме по несколько амбразур. Да к тому же вся набережная уставлена военными кораблями, эсминцами, канонерками, подводными лодками, катерами и другими судами.

26/X-42 года

Вчера получил от мамы письмо, в котором она пишет, что думает переехать от Миши к Шуре, так как у Миши жить стало весьма тяжело. Я думал, что мама скорее поедет к Клавдии, а не к Шуре, ведь отношение Насти к нам было не совсем хорошее. Но, видно, Клава не зовет ее к себе, а Настя зовет. Я еще раз говорю, что люди определяются в нужде. Так что в такую тяжелую минуту, может быть, Настя будет относиться к маме лучше, чем раньше. А в общем, я жду того дня, когда я могу собрать во единую семью своих детей и мать.

На зиму нарубил 8 ведер хряпы, т. е. лист от свеклы, турнепса и немного капустного листа.

3/XI-42 года

Первого ноября на заводе был напряженный день. В этот день заканчивали месячную производственную программу. Программу выполнили на 120 %. После работы все мастера собрались у начальника цеха Балашова (Владиславов, Шмаков, Рашкин и я), и он нам преподнес по 150 гр. спирту в честь выполнения программы. Выпили, но закуски никакой не было. Вчера был выходной день, с утра занимался переборкой книг. После обеда ходил в кино, смотрел «Как

закалялась сталь», а после кино пошел в ДК Промкооперации, где слушал концерт джаза Дома Красной Армии.

С Марусей поругались, она ушла к Косте и была у него целый день. Принесла от него хлеб и масло, и в течение двух дней все съела одна. Вся ссора получается от того, что я сильно издерган производственными неполадками, слабость здоровья – сильно расшатана нервная система и недоедание – все это обстоятельство влечет за собой ссоры.

Вчера и сегодня в течение ночи было три воздушных тревоги, но бомбежек не было.

6/ХІ-42 года

Вот уже пять дней, как не разговариваем с Марусей, она стала очень настойчивая, никакого уважения ко мне, о трудности моей работы не хочет понимать. С работы прихожу чересчур усталым, что ни попрошу ее сделать для меня, ничего не делает. Прошу сходить в сапожную мастерскую, отвечает: «Не пойду». «Выгладь белье» – «Мне некогда». «Почини носки», – говорит: «Не могу». Вот всеми такими подобными ответами она меня доводит до сумасшествия. А подчас упрекает куском хлеба, который приносит от Кости, а от этого упрека еще становится больнее. Ведь я стараюсь отплатить Косте, чем только могу. Вот вчера в заводской столовой был вечер, посвященный двадцать пятой годовщине Октябрьской революции. На этот вечер она принесла из дому свой патефон и пластинки и спокойно танцует. Отлично видит, что вся эта обстановка нервирует и злит меня, и все делает это назло для меня.

После торжественной части в столовой давали каждому по тарелке щей и 180 гр. овощей, из-за чего народ и пришел на этот вечер.

Сегодня и 4-го числа работали на дворе по уборке грязи. Трудно понять нашу администрацию, то она кричит на нас, что надо выполнять фронтной заказ, программу, а в другое время приостанавливают всю работу и гонят на уборку грязи.

На 7-е число в столовой усиленного питания получил продукты: 400 граммов каши, две котлеты, 30 гр. масла, 35 гр. сахару, 500 гр. хлеба. На праздник дали 0,5 литра водки. Придя с работы, убрали в комнате и сели за стол. Все продукты, которые я получил в столовой на 7-е число, мы съели. В этот вечер я выпил три стопки вина, Маруся три рюмки. В голове немного «зашумело». Маруся заводила патефон, и мы танцевали целый вечер, хотя настроение у меня было очень плохое, тем более последние дни с Марусей у нас были натянутые отношения.

8/ХІ-42 года

Праздник провели скучно. 7-го числа встали в 10 часов, в 12 часов позавтракали, 200 гр. хлеба, стакан кофе и ржаная каша, которую дала тетя Даша за врезывание замка в квартиру. С 14 до 16 часов я дежурил по жакту, хотели пойти в кино, но мешали этому воздушные тревоги. Сегодня тоже просидели целый день дома, так часто повторялись воздушные тревоги, что нельзя было выйти из дома, притом же был сильный арт<иллерийский> обстрел. Вчера и сегодня мороз стоит – 15°.

13/ХІ-42 года

10-го числа закрывают столовую усиленного питания, но зато вводят талоны дополнительного питания, на которые выдают: тарелку супа, 75 гр. масла и 7 гр. сахара. Все же это есть некоторая поддержка в питании.

Вчера на заводе не было электроэнергии с 11 часов и до конца дня.

Сегодня Маруся поехала с заводской делегацией в подшефные воинские части на передовые линии. Она очень довольна, что поехала, хотя там покушает лишнего хлеба и сэкономит свои крупяные талоны.

Прочитал в газете о посылке приветствия Сталину от священных культов в честь XXV-летия Октябрьской Революции, меня это явление удивило, ибо таких приветствий в течение четверть века еще не было, я знал только одно, что Церковь от государства отделена.

21/ХІ-42 года

15-го числа Маруся приехала из подшефной части, не успел я войти в комнату, как она грубо спрашивает меня: «Почему ты не спросил у меня во время отъезда моей овощной карточки, ведь тут в столовой давали по ним картофельный суп». На ее грубые слова я ничего не ответил, и вот

опять с 15-го числа не разговариваем. Сегодня она одна пошла в Выборгский ДК смотреть оперетту «Морской волчонок».

24/ XI-42 года

На производстве несчастье за несчастьем, брак дошел до наивысшего предела, даже не знаю, какие принимать меры. Больше уделяю внимание ученикам, малоквалифицированным работникам, а квалифицированные работники делают брак. Демишкин запорол гидростаты, я заварил отверстия, оставил в ночь работать Корничкина на этих же гидростатах, он их опять запорол. Симкин Коля запорол планера, грузя. Балашов ругает меня за такую работу, оскорбляет. Но я чувствую, что от меня мало что зависит, за всеми я не могу усмотреть. Я понимаю, что брак идет потому, что рабочие меньше думают о работе, а больше о еде, голодному рабочему не вдолбишь в голову о изготовлении деталей, он только тогда поймет о работе, когда ему посулишь что-либо из съестного. От такой работы домой прихожу окончательно разбитый, физически усталый, потому что зачастую работаю сам. Маруся не понимает моих трудностей, не создает мне отдыха дома, а делает мне все наперекор. Что бы я ее ни попросил сделать, все отказывает. Прошу сходить в сапожную мастерскую, отвечает: «Некогда», – прошу паспорт отнести в прописку, отвечает: «Не хочется», – прошу варежки сшить, отвечает: «Не могу». А эти слова и ответы «некогда, не хочу, не могу» меня только больше раздражают. А поэтому стараюсь как можно меньше к ней обращаться.

Сообщение Информбюро о разгроме немецкой армии под Сталинградом как-то воодушевляет, кажется, приближается час разгрома немцев, а с разгромом немцев и приближается час, когда мы найдем своих дорогих детей Алика и Юру, о которых не забываем ни на минуту.

2/ XII-42 года

Вчера на заводе был выходной день, а я как обычно работал, собирали с Колей Симкиным бегунчик и вертикальную скобу. Сегодня у меня на участке пропал затвор от секретного оружия «Walter». За эту пропажу меня таскали по всем отделам, неоднократно писал объяснительные записки, списывали акты. Я чувствую, что все эти неприятности сильно отражаются на состоянии здоровья. Павлуша Гаврилов также не меньше моего переживает об этой пропаже.

Сегодня Маруся сообщила мне, что ее назначили на должность начальника жилищного отдела. Я на это ее назначение смотрю отрицательно, теперь она еще меньше будет уделять времени бытовой жизни. Да и вообще я чувствую, что партийная организация, наверное, разобьет нашу семейную жизнь. Вот в течение лета мы жили врозь благодаря ее партии, она работала в Левашово, а я в Ленинграде, а жить в одиночку весьма и весьма тяжело. Нет никакой гарантии, что ее <не> могут послать работать куда-нибудь, и после этого может нарушиться наша семейная жизнь, которая с потерей детей и так не может войти в правильное русло.

С завода прихожу весьма и весьма усталый, появляются сильные головные боли, причиной этому является то, что в течение месяца работаю без выходных дней.

Ночью была объявлена два раза воздушная тревога, но бомбежки не было.

5/ XII-42 года

День Конституции, единственный праздник, который мы празднуем, имея выходной день. С утра я занимался проводкой радио, потом пилили дрова с Марусей. В обед я попросил ее, чтобы она принесла мне обед из столовой, так как я плохо себя чувствовал. Маруся моей просьбы не удовлетворила, и на этой почве у нас произошел скандал. Вечером у нас были билеты в Выборгский дом культуры на спектакль «Парень из нашего города», но так как мы с Марусей поссорились, то она пошла одна, а мой билет пропал. Маруся пришла из Дома культуры в 9 часов, мы поужинали, пили чай. Вася Пошелов принес нам тарелку овсяного киселя и угостил нас. 3-го числа с<его> м<есяца> к нам приходил Костя. Как обычно с его приходом мы все трое хорошо позавтракали и после обеда пошли с ним в кино, смотрели кино «Степан Разин». После, придя домой, мы поужинали, вспоминали наше прошлое, играли на патефоне.

Погода стоит теплая, идут дожди, зимы не чувствуется. Такая теплая погода сохраняет силы и здоровье.

9/ХІІ-42 года

Настала зима, много снега, мороз стоит – 7–9°. Но прошлый год в это время морозы доходили до – 35°, и голод был страшный. Хотя и сейчас ходим полуголодные. Вот сегодня за день мы с Марусей съели утром 140 грамм каши, 260 гр. хлеба, в обед: две тарелки зеленых щей, одну тарелку крупяного супа, по 100 гр. хлеба и на ужин – по тарелке щей из хряпы без хлеба.

12/ХІІ-42 года

10-го числа в цеху было собрание о передаче Красного знамени четвертому цеху и передаче участкового цехового знамени внутри цеха фрезерному участку. Передача переходящего участкового знамени фрезерному участку еще раз показала, что на производстве пользуются авторитетом только партийные работники. Вот на фрезерном участке работа шла гораздо хуже токарного и слесарного участков, как, например: токарный участок программу выполнил 17-го числа, а фрезерный участок до 30-го числа держал своей работой слесарный участок. И все же фрезерному участку передали Красное знамя, потому что Шмаков является кандидатом ВКП (б), а Владиславов и Фокин являются беспартийными.

Вчера для нас с Марусей был тяжелый день, во время завтрака в столовой она потеряла на декаду хлебную карточку. Так что теперь десять дней придется жить на 250 граммах. Вчера прожили без крошки хлеба, так как на мою карточку было взято на день вперед. Маруся ведет себя возмутительно, вот, вчера потеряла хлебную карточку, где бы нам экономить крупяные талоны, расходовать пропорционально ежедневно, а она проела 9 крупяных талонов, тогда как я, находясь в таком же положении, проел только 4 талона. В этом отношении Маруся экономить не может, она живет так, если есть что, то съедает все сразу. Я ей не возражаю, ибо все возражения мои приводят к лишней ссоре, а поэтому больше молчу. Если бы Маруся жила поэкономнее, то мы легко могли бы зиму прожить, а ввиду ее безалаберного отношения к продуктам мы дошли до того, что не имеем ни крошки продуктов запаса. А мы помним, когда нам не давали хлеба в течение 4 дней с 27 по 30 января, и люди, не имевшие запаса, помирали.

11-го числа с<его> м<есяца> на заводе был вечер, посвященный вручению орденов и медалей нашим работникам, куда был приглашен и я. Всего было приглашено человек 50. Но вот когда кончилась торжественная часть и время пришло садиться за стол, то нас попросили очистить помещение, а начальники, которые и так сыты, сели за стол обжираться.

В 18 часов начался сильный арт<иллерийский> обстрел по городу, особенно пострадал от обстрела Литейный проспект и Кировная улица. Сегодня выходной день, Маруся спит, а я как проклятый иду работать, да и на работе все только одни неприятности. Лучшие работники систематически делают брак, то Симкин, то Корничкин, то Демишкин, Пошанов браком засыпали, администрация готова меня растерзать. От такой обстановки можно с ума сойти. Нервы настолько стали напряжены, что вот-вот, кажется, лопнут, иногда думаешь, что все надо бросить и уйти в армию.

15/ХІІ-42 года

С потерей хлебной карточки живем голодно, но зато дружно, совсем не ссоримся. Голод и нужда нас с Марусей больше сдружают, делимся последней крошкой, все, что приносим из столовой, делим строго пополам, хотя оба и голодны, но друг от друга этот голод скрываем.

Производственная программа не дает передохнуть, к 20-му числу надо выполнить годовую программу, а с этим народом весьма трудно работать. Все квалифицированные работники заняты на отделке Waltera, которые администрация готовит всем большим работникам горкома и наркомата новогодними подарками.

От Кости нет никаких известий, я беспокоюсь за него, ведь, как Маруся сказала мне, он пошел в разведку, а с опыта финской войны я мало помню случаев, чтобы разведка ворачивалась без потерь.

В 20 часов 10' недалеко от дома произошел сильный взрыв, но этому взрыву мы не придаем значения, т. к. частые арт<иллерийские> обстрелы и бомбежки с воздуха приучили нас быть безразличными ко всем выстрелам.

18/ХІІ-42 года

Вчера вечером от Кости приходил красноармеец, который сообщил нам, что Костя жив и здоров, и что их подразделение переехало на новое место. Этому сообщению мы весьма рады.

Сегодня первый день питался в диетической столовой, куда меня зачислили на питание до 17 января. Мой вес достиг 61 кг, в то время как зимою я весил 51 килограмм. Маруся весит 52 кг. Маруся также могла попасть в эту столовую, но из-за принципа не хотела давать желудочного сока, ей противно было глотать зонд. С 14 часов на заводе перерыв электроэнергии, но рабочих домой не отпускают. Погода стоит теплая – 8°, мало снегу.

22/ХІІ-42 года

Перебой в электроэнергии был до 20-го числа. Все рабочие занимались военным делом в течение двух дней. На заводе создана рота автоматчиков, где я являюсь ком<андиром> взвода.

Эти три дня я был на командирском сборе при заводе № 7. Этот сбор ничего мне не дал, а только убил зря время. Погода стоит все время теплая, идут дожди. Такая погода сохраняет рабочую силу. 19-го числа ездили к Басовым на квартиру, откуда привезли швейную машину, а самое главное, что в буфете наскребли стакан крупы. Этой крупой мы были сыты целый день.

В квартире нас встретили Самотовкины, они спросили, где находится Алексей Ильич. Мы сказали, что он работает на Ладого. Тогда Александра Ивановна, которая имеет вид настоящего дистрофика и неряхи, просила нас, чтобы мы попросили Алексея Ильича устроить ее к нему работать. Она стала рассказывать нам, как они дружно жили с семьей Басовых.

26/ХІІ-42 года

Получили письмо от мамы и от Алексея Ильича. Мама переехала к Насте, чем мы весьма довольны, ей будет у Насти лучше, чем у Гали. Она пишет, что к ним приходил Федя Карпов, который рассказал ей о всей нашей жизни и смерти Сережи. Поэтому мама в письме пишет нам, чтобы мы мужественно переживали все трудности и сохраняли свою жизнь. Мама также чувствует за собою всю вину в пропаже Алика и Юры, если бы она была дома, то дети были бы при ней. В этом отношении она права. Вообще мамины письма весьма справедливы и поучительны.

Вечером приезжал Костя, он вернулся с передовой линии, рассказывал, что одного товарища потеряли в разведке, а также рассказал о всех трудностях, пережитых на передовых. Маруся в этот день ездила в Левашово, привезла молока, и мы угостили Костю, больше угощать было нечем.

Эти дни по городу происходит арт<иллерийский> обстрел, наверное, мы или немцы идем в наступление. Погода стоит теплая, идут дожди. В прошлом году в это время морозы были до – 40°, но с 26-го числа мы хлеба получали уже 300 граммов.

30/ХІІ-42 года

Всю ночь продолжалась воздушная тревога, зенитки стреляли непрерывно, были сброшены бомбы на Мальцевском рынке и в Петроградском районе, на Сердобольской улице. В течение дня было 4 тревоги, и также был арт<иллерийский> обстрел.

Все же Леля Балтрук так и не отдала Марусе 200 гр. масла за туфли. Так стали поступать лучшие подруги.

К Новому году нам выдали только по литру пива и ничего больше. Народ очень возмущен. Если Костя нам не пришлет ничего, то встреча Нового года будет очень печальна, т. е. с пустым желудком.

1 января 1943 года

Прошел старый, голодный, холодный, мучительный год – год смерти и терзаний, год разрухи и нищеты, год распада семейной жизни. Этот год навеки будет помниться жителям героического города Ленина, города-фронта.

Вчера на работе закончили годовую, квартальную и месячную программу с большим % перевыполнения. С работы пришел в 19 часов. Маруся сидит у теплой печки и ждет Костю, ведь от его прихода зависит встреча Нового года. Комната хорошо убрана, все постелено чистое и глаженое, вообще, Маруся убирает комнату в моем вкусе. Для встречи Нового года у нас нет ни крошки хлеба, ни грамма крупы, а есть хряпа, граммов 150 картошки и литр пива. Но Костя так и

не пришел. Тогда в 20 часов приходят к нам Маруся и Вера Михайловы и приносят с собою: 0,25 литра вина, 1 литр пива, 50–60 гр. икры, грамм 50 шпикю и грамм 400 хлеба ситного и жареной картошки. Маруся сделала немного винограда. В 23 часа 50 минут мы сели за стол, который выглядит художественно. До этого времени я заводил патефон и танцевал с Верой и Марусей. За первыми рюмочками мы подытоживали, сколько родных и близких мы похоронили за этот страшный год – год блокады, великого мора и больших переживаний. За 1942 год Маруся Михайлова похоронила мать, сестру, потеряла двух сыновей. Мы похоронили отца, брата, потеряли двух детей. Разве это не год великих терзаний?

Встреча Нового года продолжалась до 3 часов. Надо сказать, что время провели весьма весело, и все остались довольны.

Сегодня встали мы в 12 часов, раньше вставать не хотелось, потому что нечего есть, а столовая открывается только в час. Ну вот, до часу ничего не ели, а в час пошли в столовую. После обеда ходили по магазинам, хотели пойти в кино, но не было электроэнергии. Пришли домой, вскипятили кофе, пришла Маруся Михайлова, и опять провели вечер вместе. Благодаря хорошим соседям весело провели встречу Нового года.

3 января 1943 года

Получили от Шуры телеграмму, в которой он сообщает, что послал нам посылку. Этим сообщением Шура нас обрадовал, не забывает нас в тяжелую минуту. А вот Клава прислала нам письмо, в котором пишет, что посылки не принимают, а я думаю, что при желании все можно сделать. Такое ее сообщение нас очень обидело, ибо для родственников в тяжелые дни надо приложить все усилия к их помощи.

Был Володя Ломов у нас, очевидно, его скоро пошлют на передовые, он был на мед. комиссии, и комиссия признала его годным. Идти в эту мясорубку ему не хочется, страшит прошлое. В беседе вспомнили о Сереже, посочувствовали его преждевременной дурацкой смерти. Я его угостил стаканом чая, он нас кусочком хлеба. И так мы весело провели время.

Сегодня узнал от парторга цеха Курочкина, что Раткин во время раздачи талонов дополнительного питания делает жульничество. Нам со Славой дает по одному талону, а в списке отмечает два талона. Таким образом, он пользуется тремя талонами. Это свойственно всей администрации, которая живет благодаря воровству и мошенничеству.

6 января

День прошел как обычно, в напряженной производственной обстановке. Но вечер и ночь прошли в сплошных сигналах воздушных тревог и сильных налетах. Зенитная артиллерия была непрерывно. Последние дни налеты повторяются ежедневно.

Как бы мне ни было тяжело на работе, но всю тяжесть и все неприятности облегчают рабочие своим отношением ко мне, каждый старается для меня сделать только хорошее и чем-либо отблагодарить меня за мое отношение к ним. Вот Коля Симкин часто угощает меня ужином на талон дополнительного питания. Павлуша Гаврилов на Новый год преподнес мне подарок – литровую банку хорошей капусты. Павлов в течение лета и осени угощал овощами, приносил оливкового масла. Особенно хорошее отношение я вижу со стороны учеников, которым я много уделяю внимания в учебе, и плоды моей работы видны, я на своем участке выпустил больше всех учеников, и экзамен, и пробу сдали лучше всех. Баланин и Скоряков сдали на отлично, за что их премировал директор.

Вот такое отношение ко мне со стороны большинства рабочих создает мне некоторый моральный отдых.

10 января

Вчера был выходной день. Встал в 9 часов, врезал Михайловым в квартиру звонок, тете Даше исправил дверь, радио, электропроводку. За мои труды она мне дала кусок хлеба, но я не взял, ибо не хотел у нее отнимать последний хлеб, ведь мы все живем на своем пайке.

Вечером ходили в кино смотреть «Как закалялась сталь». 8-го числа приходил Костя, как обычно, он принес 2,5 буханки хлеба, 200 гр. масла, стакан крупы. Такие дни для нас с Марусей бывают праздниками. А вот как, например, 7-го числа для нас был голодный день. Но вечером нас чисто случайно угостили соседи. Маруся Михайлова принесла две лепешки, которые она

печет на работе, и которая почти каждый вечер ходит пить к нам чай, так как я из столовой приношу свою пайку 20 гр. сахару и угощаю ее.

14 января

Вчера приходил к нам Костя. У него большие неприятности. При встрече Нового года в его подразделении все командиры, в том числе и он, напились здорово пьяными. Но за всю эту пьянку он пострадал больше всех, т. е. поступок разбирали на партийной организации, за что он получил строгий выговор с предупреждением. А вчера его дело разбирали на полковом партбюро, где решение низовой организации утвердили. Я понимаю все переживания Кости, ибо сам я был в худшем положении, чем Костя, тем более его переживания смягчаются тем, что он находится в нашем кругу. Тревоги продолжаются целыми днями и ночами, а также большинство районов подвергаются арт. обстрелу. В общем, в городе происходит что-то невероятное, создается такое впечатление, что что-то должно произойти в эти дни. Если бы приехал бы новый человек в данное время в Ленинград, то он сказал бы: «Да, Ленинград фронт, а ленинградцы фронтовики». Но ленинградцы настолько ко всему привыкли, что на эту обстановку не обращают никакого внимания.

16 января

Арт. обстрел и воздушные тревоги не прекращаются в течение всех суток. Обстреливается и бомбится наш район, недалеко от нашего дома, того и гляди рухнет дом.

Сегодня выходной день, вот должны с Марусей идти в театр музыкальной комедии, но решили не ходить, все равно будут тревоги, а во время тревоги спектакль прекращается и потом не дойдешь до дому. Ходили в Выборгский дом культуры, смотрели спектакль «Лгуня». Но просмотрели только два действия, и началась воздушная тревога, и поэтому пошли домой. Придя домой, нам Вася Пошалов сказал, что приходил Костя, ну, и конечно, оставил нам хлеба, жиру и банку баклажан маринованных. В двух словах Костя ему сказал, что вы скоро услышите большую новость, но что это за новость, нам пока не известно.

19 января 1943 года

Сегодня самый радостный день для ленинградцев. Вчера в 11 часов 10 минут вечера радио сообщило о том, что блокада Ленинграда прорвана. Этого сообщения мы ждали в течение полутора лет.

Придя на завод, все поздравляли друг друга с победой Красной Армии, все радостны, веселы. Улицы убраны красными флагами, корабли до этого стояли в большой маскировке, сегодня они оделись в разноцветные флаги. Везде и всюду чувствуется большой праздник. До начала работы был устроен митинг. По окончании митинга, не приступая к работе, пошли на военные занятия, где занимались до 14 часов.

С прорывом блокады все ждут прибавки хлеба и других продуктов, идут разговоры, что с первого числа будет прибавка хлеба. Но я этому не верю, ибо не так-то легко завезти в Ленинград такое изобилие продуктов... Итак, жители Ленинграда прожили в блокаде с 27 августа 1942 года по 19 января 1943 года.